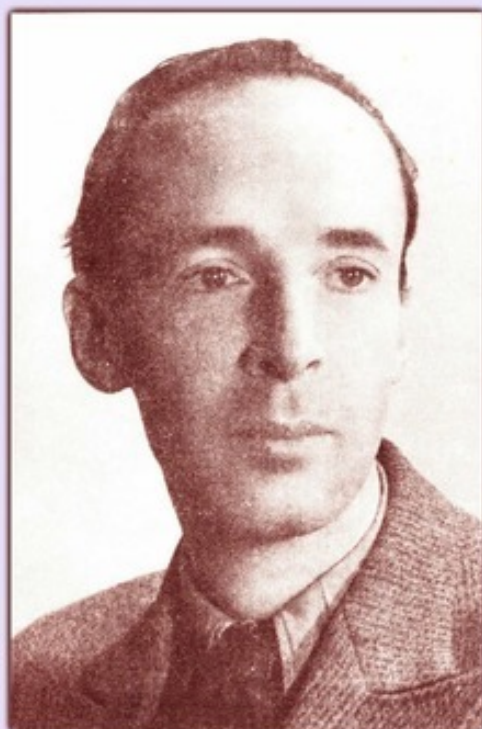




НАБОВСКАЯ ЕВРОПА



NAVOKOV'S EUROPE

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
Ежегодное издание Выпуск 1
2017

Евгений Лейзеров
Набоковская Европа

«Издательские решения»

Лейзеров Е.

Набоковская Европа / Е. Лейзеров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857584-6

Литературный альманах «Набоковская Европа» создан произведениями авторов — в драматургии, поэзии, прозе — анализирующими, сопровождающими творчество незаурядного писателя Серебряного века Владимира Набокова.

ISBN 978-5-44-857584-6

© Лейзеров Е.
© Издательские решения

Содержание

Творчество набоковедов	6
Евгений Лейзеров ¹	6
Действие первое	8
Акт первый	8
Акт второй	12
Акт третий	16
Акт четвертый	19
Акт пятый	23
Акт шестой	25
Действие второе	27
Акт первый	27
Акт второй	29
Акт третий	30
Акт четвертый	32
Акт пятый	34
Акт шестой	37
Акт седьмой	41
Акт восьмой	42
Акт девятый	45
Анимационный фильм «Сонет из прошлого»	47
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Набоковская Европа

Авторы: Лейзеров Евгений, Реутова Юлия, Евсеев Антон, Спектор Владимир, Филимонов Алексей, Волкова Русина

Редактор Алексей Олегович Филимонов

Редактор Евгений Яковлевич Лейзеров

Дизайнер обложки Елена Владимировна Герасимова

© Евгений Лейзеров, 2018

© Юлия Реутова, 2018

© Антон Евсеев, 2018

© Владимир Спектор, 2018

© Алексей Филимонов, 2018

© Русина Волкова, 2018

© Елена Владимировна Герасимова, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4485-7584-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Дорогие читатели!

Перед вами первый номер ежегодного литературного альманаха «Набоковская Европа». Рождённый в Санкт-Петербурге, Владимир Набоков большую часть жизни прожил в Европе. Его жизнь с рождения была связана с европейской, прежде всего с англосаксонской культурой, с детскими впечатлениями от поездок в Европу; у него была французская гувернантка, образ которой навсегда запечатлён в эссе «Мадемуазель О», написанном по-французски. Мысленно он всегда возвращался на родину, куда, увы, не мог вернуться наяву. Об этом он проникновенно написал в «Других берегах»: «тоска по родине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью... дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается».

Вправе ли мы причислять первые 18 лет жизни, проведённые Набоковым в России, к его европейскому периоду? Ответ на это дают его произведения, посвящённые русским эмигрантам и персонажам, прототипами которых были европейцы, они свидетельствуют о том, что его корни лежат одновременно в русской и европейской культуре. Франция была связана для Набокова с именем Пушкина, которого в Лицее товарищи звали «французом», лёгкость и одновременно глубина пушкинского слога унаследованы Набоковым, хотя он являет собой русского, европейского писателя, прежде всего прозаика, в его наивысшем расцвете, который, возможно, никогда более не повторится.

В Англии, в 1922 году Владимир Набоков с отличием закончил Кембриджский университет, в Германии прошли пятнадцать выдающихся «сиринских» лет, затем Франция до 1940-го и, наконец, Швейцария с 1959-го до конца жизни в 1977-м. Более 60 лет Владимир Владимирович Набоков прожил в Европе и рассказать об этом достойном периоде его жизни статьями, стихотворениями, эссе, новыми переводами, малоизвестными биографическими материалами – цель нашего издания. Это не означает, что закрыта тема американских годов, напротив, полностью открыта, если авторы данной темы по-новому, без обиняков, раскрывают творческое наследие «сиринского» прошлого.

Приглашаем читателей, писателей, исследователей к сотрудничеству и сотворчеству!

Евгений Лейзеров, Алексей Филимонов

Творчество набоковедов

Драматургия

Евгений Лейзеров¹ ...И не кончается строка по роману «Дар» Владимира Набокова

Театральная постановка в 3-х действиях
с анимационным фильмом «Сонет из прошлого»
по одноименному роману Владимира НАБОКОВА

(Канва сценария для возможного телесериала)

Внешний Вид и характеристики действующих лиц

Федор Константинович Годунов-Чердынцев – молодой литератор – худая грудь, длинные, мохнатые, в бирюзовых жилах ноги; широкие брови, лоб с мыском коротко остриженных волос, впалые щеки;

Елизавета Павловна (мать Федора) – до смертельной бледности напудренная, в черных перчатках и черных чулках;

Clara Stoboy, квартирохозяйка – крупная, хищная немка, пробор в гофрированных волосах и дрожащие мешки щек сообщают ей нечто жорж-сандово-царственное, на ней палевое в сизых тюльпанах платье;

Любовь Марковна, вернейшая посетительница литературных посиделок – пожилая, рыхлая, никем не любимая женщина, в пенсне, подкрашивает глаза;

Тамара – худенькая, очаровательно дохлая, с розовыми веками барышня – в общем, вроде белой мыши;

Васильев, толстый, старый журналист – огромный, бородатый, в довоенных носках со стрелками;

Чета Чернышевских:

Александра Яковлевна – сорокапятилетняя, некрасивая, сонная женщина, пухленькая, страшно подвижная, с ослепительно синими глазами,

¹ Лейзеров Евгений Яковлевич, 1947 года рождения, поэт, литературовед, писатель, литературный псевдоним Евгений Вербицкий, автор десяти сборников стихов и эссе. Родился в Ленинграде, закончил технический и гуманитарный ВУЗы, с 2002 года живет в немецком городе Констанц. Победитель в конкурсе эссеистов «Эмигрантская лира – 2015». Сценарист и продюсер документального фильма «Ключи Набокова».

Александр Яковлевич – здоровый с виду, кругленький, лысый с волосиками по бокам, человек; короткие, жирные ножки; аккуратные черты, время от времени по неделям не снимал с правой руки серой фильдекосовой перчатки (страдал экземой), после смерти сына иногда судорога и тик по лицу, вследствие неизлечимой, тяжелой душевной болезни;

Всеволод Романов, молодой живописец – изящное лицо, эллинскую чистоту коего бесповоротно портили темные, кривые зубы;

Буш Герман Иванович, участник литературного кружка – пожилой, застенчивый, крепкого сложения, симпатичный рижанин, похожий лицом на Бетховена;

Кончеев, писатель – сутулая фигура, молодое, рязанское, старомодно-простоватое лицо, сверху ограниченное кудрей, а снизу крахмальными отворотцами;

Чета Скворцовых (полупрофессорского типа):

Он – приветливый, с лучиками у глаз, с носом дулей и жидкой бородкой,

Она – чистенькая, моложавая, певуче-говорливая, в шелковой шали;

Щеголев Борис Иванович – громоздкий, пухлый, очерком напоминающий карпа, человек лет пятидесяти, довольно полное лицо овального покроя, с маленькой черной бородкой под самой губой, жидкие черные волосы, ровно приглаженные, разделенные пробором не совсем посередине головы, но и не сбоку, открытое русское лицо, темные глаза;

Марианна Николаевна, мать Зины Мерц – полное, кустарно покрашенное лицо, пожилая, рыхлая, с жабым лицом;

Зина Мерц – длинный стан, длинные пальцы, на ресницах пудра, отчесанные с висков светлые стриженные волосы;

Чарский, адвокат – толстый, похож на раскормленную черепаху;

Керн, инженер, близко знал Александра Блока;

Горяинов, гладкощекий и молчаливый господин, отлично пародирует, толстое старомодное лицо, причмокивает и говорит бабым голосом.

Авторский текст должен быть записан на аудиокассету, его читают актеры, выступающие в спектакле, и диктор, согласно порядку, указанному в тексте пьесы.

Действие первое

Акт первый, акт второй

Разговор с тысячью собеседников

Акт первый

В левом ближнем углу сцены макет доходного берлинского дома 20-х годов 20-го века. На переднем плане и в перспективе Танненбергская улица, обсаженная липами, ведущая к евангелической кирхе. На улице в разных местах аптекарская, табачная и зеленная лавки. Напротив дома почтамт.

Звучит романс «Ямирик не гони лошадей». В глубине сцены электронное табло, на котором высвечивается (набирается):

Дуб – дерево. Роза – цветок.
Олень – животное. Воробей – птица.
Россия – наше отечество.
Смерть – неизбежна.

П. Смирновский

Учебник русской грамматики

Перестает звучать романс, раздается звук мотора и у дома №7 по Танненбергской улице останавливается мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес. Из фургона поочередно выпрыгивают три грузчика в синих фартуках, причем каждый из них под мажорную бравурную музыку исполняет всевозможные сальто и гимнастические упражнения.

На сцену медленно выходят из дома и останавливаются перед мебельным фургоном высокий, густобровый старик с сединой в бороде и усах и коренастая, немолодая женщина с довольно красивым, лжекитайским лицом. Мужчина облачен в зелено-бурое войлочное пальто, во рту у него холодный, полублестевший сигарный окуроч; женщина одета в каракулевый жакет

Оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собираются обвесить, наблюдают за тем, как трое краснощеких молодцов в синих фартуках одолевают их обстановку.

На сцену выходит Годунов-Чердынцев. Он осматривает дом, близлежащие лавки и с интересом наблюдает за происходящим перед домом.

Авторский текст (Ат): читает актер, играющий Федора с одновременным набором текста на экране:

«Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку»,

– подумалось мельком с беспечной иронией – совершенно, впрочем, излишнюю, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал.

Быстрой походкой Фёдор Годунов-Чердынцев, направляется к табачной лавке, заходит в нее, ищет свою марку папирос и не найдя ее, неохотно покупает другие папиросы.

Ат: читает актер, играющий Федора, с одновременным набором текста на экране и с кратковременным показом фото Александры Яковлевны Чернышевской:

Боже мой, как я ненавижу все это: лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной цены... благородство уступки... человеколюбие торговой рекламы... все это скверное подражание добру, – странно засасывающее добрых: так, Александра Яковлевна признавалась мне, что когда идет за покупками в знакомые лавки, то нравственно переносится в особый мир, где хмелеет от вина честности, от сладости взаимных услуг, и отвечает на суриковую улыбку продавца улыбкой лучистого восторга.

Переходит на угол в аптекарскую, поворачивает голову и видит параллелепипед белого ослепительного неба.

Ат читает актер, играющий Федора, с одновременным показом на экране неба, ветвей дерева, фасада дома:

Теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.

Начинает тихо звучать романс «Белой акации гроздь душистые»

Под впечатлением увиденного Федор останавливается, он как бы перевоплощается, и уже медленной походкой довольного жизнью человека заходит в аптекарскую лавку и машинально высыпает сдачу, полученную только что в табачной, на резиновый островок посреди стеклянного прилавка. Немая сцена: недоумённый и снисходительный к его причуде взгляд приказчицы...

Фёдор (с достоинством):

Дайте мне, пожалуйста, миндального мыла.

Взлетающим шагом, возвращается к дому. Поднявшись по лестнице, звонит в дверь новой квартиры.

Clara Stoboy (впуская Фёдора в квартиру):

Я положила ключи к Вам в комнату.

Фёдор переступает порог продолговатой комнаты, посреди которой дорожный чемодан. Справа от окна письменный стол, слева – кресло и кушетка, палевые в сизых тюльпанах обои... Из окна виден дом, наполовину в лесах, а по здоровой части кирпичного фасада оброс плющом, лезущим в окна. В глубине прохода, разделяющего палисадник, чернелась вывеска подвальной угольной. Музыка перестает звучать.

Ат: читает актер, играющий Федора, с одновременным набором текста на экране:

А вот продолговатая комната, где стоит терпеливый чемодан... и тут разом все переменялось: не дай Бог кому-либо знать эту ужасную унижительную скуку – очередной отказ

принять гнусный гнет очередного новоселья, невозможность жить на глазах у совершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке.

Федор некоторое время стоит у окна.

Ат:

Само по себе все это было видом, как и комната была сама по себе; но нашелся посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно комнаты. Прозревши, она лучше не стала. Палевые в сизых тюльпанах обои будет трудно превратить в степную даль. Пустыню письменного стола придется возделывать долго, прежде чем взойдут на ней первые строки. И долго надобно будет сыпать пепел под кресло и в его пахи, чтобы сделалось оно пригодным для путешествий.

Clara Stoboy:

Господин Фёдор, Вас просят к телефону

Фёдор, вежливо сутулясь, последовал за хозяйкой в столовую, берет телефонную трубку.

Федор:

Алло, я вас слушаю.

Александр Яковлевич:

Во-первых, почему это, милостивый государь, у вас в пансионе так неохотно сообщают ваш новый номер? Выехали, небось, с треском? А во-вторых, хочу вас поздравить... Как – вы еще не знаете? Честное слово? («Он еще ничего не знает», – *обратился Александр Яковлевич другой стороной голоса к кому-то вне телефона*) Ну, в таком случае возьмите себя в руки и слушайте, я буду читать: «Только что вышедшая книга стихов до сих пор неизвестного автора, Фёдора Годунова-Чердынцева, кажется нам явлением столь ярким, поэтический талант автора столь несомненен...» Знаете что, оборвем на этом, а вы приходите вечером к нам, тогда получите всю статью. Нет, Федор Константинович, дорогой, сейчас ничего не скажу, ни где, ни что, – а если хотите знать, что я сам думаю, то не обижайтесь, но он вас перехваливает. Значит, придете? Отлично. Будем ждать.

Вешая трубку, он едва не сбил со столика стальной жгут с карандашом на привязи: хотел его удержать, но тут-то и смахнул; потом въехал бедром в угол буфета; потом выронил папиросу, которую на ходу тащил из пачки; и наконец, зазвенел дверью, не рассчитав размаха, так что проходившая по коридору с блюдцем молока фрау Стобой холодно произнесла «упс!»

Ат читает Федор, с одновременным набором текста на экране:

В конце концов он никогда и не сомневался, что так будет, что мир, в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар.

Возвращается в свою комнату, запирается на ключ, и с книгой падает на диван, чтобы перечитать ее тотчас.

Ат (читает актер с дикторской благожелательной интонацией):

Перед нами небольшая книжка, озаглавленная «Стихи», содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме – детству. При набожном их сочине-

нии автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой он позволил проникнуть в стихи тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность. Поэт с мягкой любовью вспоминает комнаты родного дома, где оно протекало.

По четвергам старик приходит,
учтивый, от часовщика,
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет
и переставит у стенных.
На стуле стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И, благополучно
окончив свой приятный труд,
на место ставит стул беззвучно,
и, чуть ворча, часы идут.

Ат (читает актер, играющий Федора):

...Между тем воздух стихов потеплел, и мы собираемся назад в деревню, куда до моего поступления в школу (а поступил я только двенадцати лет) мы переезжали иногда уже в апреле.

Опускается занавес, на полотно которого проецируются кадры из фильма «Ключи Набокова», со слов:

«В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное, на первый взгляд, время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы – моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы».

<http://www.verbolev.com/#!/film/ccam> (Хронометраж кадров: 45секунд – 17.20—18.05)

Ат (читает актер, играющий Федора):

Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением, несмотря на идиотскую вещественность изоляторов, я еще выйду с той станции и, без видимых спутников, пешком пройду стежкой вдоль шоссе с десятков верст до Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении. На валун сядет ворона – сядет, оправит сложившееся не так крыло. Погода будет, вероятно, серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и старейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда.

На полотно занавеса проецируются кадры из фильма «Ключи Набокова», соответствующие чтению стихотворения:

С серого севера

вот пришли эти снимки.

Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщиком
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово-
зеленоватого,
он приносит торжественно.

Вот это Батово.
Вот это Рождествено.

<http://www.verbolev.com/#!film/ccam> (хронометраж кадров: 1 мин.20сек. – 19.50—21.10)
Ат (читает актер, играющий Федора):

Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стопа, в тон столбам.
Но одного я наверняка не застану – того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород
изгнания: детства моего и плодов моего детства. Его плоды – вот они, – сегодня, здесь, – уже
созревшие; оно же само ушло в даль, почище северно-русской.

*Видеопокказ прекращается, занавес поднимается. Фёдор потянулся, встал с кушетки,
одевается, медленно выходит из дома.*

Акт второй

*Передняя в доме Чернышевских. Александра Яковлевна открывает дверь. Входят
Любовь Марковна и Фёдор. Туда же вбегает, на коротких, жирных ножках, ее муж, трясая
на бегу газетой.*

Александр Яковлевич:
Вот, вот, смотрите!

Александра Яковлевна:
Я ожидала от него более тонких шуток, когда за него выходила.

Федор Константинович с удивлением увидел, что газета немецкая, и неуверенно ее взял.

Александр Яковлевич:

Дату! Смотрите же на дату, молодой человек!

Федор:

Вижу (со вздохом складывая газету). – Главное, я отлично помнил!

Александр Яковлевич свирепо захохотал..

Александра Яковлевна (с ленивой скорбью):

Не сердитесь на него, пожалуйста.

Следом за Любовью Марковной в гостиную входят Федор Константинович и Александра Яковлевна.

Это была очень небольшая, пошловато обставленная комната с застрявшей тенью в углу и пыльной античной терракотовой статуэткой на недостижимой полке. На диване, среди подушек – всё неаппетитных, заспанных цветов – подле шелковой куклы с бесконечными ногами ангела и персидским разрезом очей, которую оба сидящих поочередно мнут, удобно расположились огромный, бородатый Васильев и худенькая, очаровательно дохлая, с розовыми веками барышня – в общем, вроде белой мыши; ее звали Тамара (что лучше пристало бы кукле). Письменный стол завален словарями. Федор садится около книжной полки.

Инженер Керн, близко знавший покойного Александра Блока, извлекает из продолговатой коробки, с клейким шорохом, финик. Внимательно осмотрев кондитерские пирожные на большой тарелке с плохо нарисованным имелем, Любовь Марковна, вдруг скомкав выбор, взяла тот сорт, на котором непременно бывает след неизвестного пальца: пышку.

Александр Яковлевич (подмигивая):

А отзывы всё равно будут, уж будьте покойны, угорьки из вас повыжмут.

Александра Яковлевна:

Мне больше всего понравилось о детских болезнях, да, это хорошо: рождественская скарлатина и пасхальный дифтерит.

Тамара (с любопытством):

Почему не наоборот?

Ат:

Мне тяжело, мне скучно, это все не то, – и я не знаю, почему я здесь сижу, слушаю вздор.

Федор сидит, курит, покачивает носком ноги.

Ат:

и промеж всего того, что говорили другие, что сам говорил, он старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу, – и тогда вдруг менялось освещение мира и он на минуту действи-

тельно был Александр Яковлевич, или Любовь Марковна, или Васильев. Иногда к прохладе и легким нарзанным уколам преображения примешивалось азартно-спортивное удовольствие, и ему было лестно, когда случайное слово ловко подтверждало последовательный ход мыслей, который он угадывал в другом.

Александра Яковлевна:

Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор. У вас, верно, есть новые стихи, правда?

Федор:

Ничего у меня с собой нет, и я ничего не помню.

Александр Яковлевич (оборачиваясь и кладя на рукав Федора руку):

Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь. Честное слово, нет? Я потом сообразил, как это было жестоко. У вас скверный вид. Что у вас слышно? Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали.

Федор:

В пансионе, где я прожил полтора года, поселились вдруг знакомые, – очень милые, бескорыстно навязчивые люди, которые «заглядывали поболтать». Их комната оказалась рядом, и вскоре я почувствовал, что между ними и мной стена рассыпалась и я, увы, беззащитен.

Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривает корешки книг на полках; вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать, но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване занимает Любовь Марковна с сумкой: обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживает неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок.

Васильев:

Да! (захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель). Все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в семь.

Александра Яковлевна:

Ах, посидите еще. (обращаясь к инженеру Керну):

Я на повестках по ошибке написала «Блок и война», но ведь это не играет значения?

Инженер Керн:

Нет, напротив, очень даже играет (с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, не разнимая сцепленных на животе рук). «Блок на войне» выражает то, что нужно, – персональность собственных наблюдений докладчика, – а «Блок и война» – это, извините, философия.

Все пришедшие к Чернышевским потихоньку расходятся.

Занавес опускается.

Ат:

Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком восвояси. Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, – мало того, рассчитывали

на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку; он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи... Во мраке сквера, едва заде- того веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась вопло- титься снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола.

Занавес поднимается, на сцене обстановка первого акта и Федор, неохотно бредущий по улице из глубины сцены

Ат:

Он свернул на свою улицу и погрузился в нее, как в холодную воду, – так не хотелось, такую тоску обещала та комната, недоброжелательный шкаф, кушетка.

Федор останавливается перед своим домом, достает ключи, но ни один из них входной двери дома не открывает. Отступает на шаг, чтобы посмотреть номер дома. И вдруг его осеняет – ключи то пансионские, а новые остались в комнате. Не зная, что предпринять, начинает ходить перед домом по панели до угла и обратно. Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висело по млечно-белому фонарю; под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константи- новичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и он заговорил сам с собою.

Ат (читает Федор):

«Благодарю тебя, отчизна...»,
и тотчас обратной волной:
«за злую даль благодарю...»
И снова полетело за ответом:
«...тобой не признан...».

Дверь дома, куда переехал сегодня Федор, открывается и в дверях женщина, встре- чавшая нынче утром свою мебель, прощается с живописцем Романовым. Федор подходит к двери, здоровается с Романовым, кланяется даме, и, огромными шагами, поднимается по лестнице в свою комнату. На столе блестят ключи и белеет книга. Готовит кушетку ко сну, гасит свет.

Ат:

Когда же он лег в постель, только начали мысли укладываться на ночь и сердце погру- жаться в снег сна (он всегда испытывал перебои, засыпая), Федор Константинович риск- нул повторить про себя недосочиненные стихи – просто чтобы еще раз порадоваться им перед сонной разлукой; но он был слаб, а они дергались жадной жизнью, так что через минуту завладели им, мурашками побежали по коже, заполнили голову божественным жуж- жанием...

Лёжа в постели зажигает свет, закуривает.

Это был разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно, и как хорошо... И в разговоре татой ночи сама душа нетатот... безу безумие безочит, тому тамузыка татот...

Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания, он наконец выяснил всё, до последнего слова, завтра можно будет записать. На прощание попробовал вполголоса эти хорошие, теплые, парные стихи.

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет... —

Ат:

и только теперь поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил — и одобрил. Изнеможенный, счастливый, с ледяными пятками, еще веря в благо и важность совершенного, он встал, чтобы потушить свет. Он повернул выключатель, но в комнате нечему было сгуститься, и, как встречающие на дымном дебаркадере, стояли бледные и озябшие предметы.

Занавес

Акт третий

Собрание литературного кружка

Просторная, вытянутая гостиная, где справа от входа, широкий письменный стол, за которым сидит Васильев. Вдоль стен два длинных книжных шкафа (до потолка) и четыре этажерки. Напротив входа в комнату — диван, на котором сидят Александра Яковлевна, Любовь Марковна и Тамара. Справа от письменного стола столик ампир. В гостиной — несколько рядов стульев,

разделенных диваном, повернутых в сторону письменного стола. На них размещаются пришедшие на собрание. Рыжая, в зеленом выше колен, барышня помогает горничной разносить чай.

В гостиную входит Федор Константинович, три дамы на диване улыбаются ему, а Тамара указывает на свободный стул.

Александр Яковлевич (подходя и раскланиваясь):

Милостивый государь, знаете что, написали бы вы, в виде романизированной биографии, книжечку о нашем великом шестидесятнике. Да, конечно же, о Николае Гавриловиче Чернышевском. Да-да, не морщитесь, я все предвижу возражения на предложение мое, но, поверьте, бывают же случаи, когда обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь, а он был сущий подвижник, и если бы вы пожелали описать его жизнь, я б вам много мог порассказать любопытного.

Федор, извиняюще улыбаясь А.Я., движется в направлении указанного Тamarой свободного стула. Кто-то сзади произносит с ответной объясняющей интонацией:

Годунов-Чердынцев.

Ат:

Когда молодые люди его лет, любители стихов, провожали его, бывало, тем особенным взглядом, который ласточкой скользит по зеркальному сердцу поэта, он ощущал в себе холодок бодрой живительной гордости: это был предварительный проблеск его будущей славы, но была и слава другая, земная, – верный отблеск прошедшего: не менее, чем вниманием ровесников, он гордился любопытством старых людей, видящих в нем сына знаменитого землепроходца, отважного чудака, исследователя фауны Тибета, Памира и других синих стран.

Александра Яковлевна (со своей росистой улыбкой):

Вот, познакомьтесь.

Скворцов:

Здравствуйте, Скворцов. Я недавно убыл из Москвы. Дорогой Федор Константинович, меня поражает полная неосведомленность за границей в отношении гибели Константина Кирилловича.

Скворцова (его жена):

Мы думали, что если у нас не знают, так это в порядке вещей.

Скворцов:

Да, со страшной ясностью вспоминаю сейчас, как мне довелось однажды быть на обеде в честь вашего батюшки и как остроумно выразился Козлов, Петр Кузьмич, что Годунов-Чердынцев, дескать, почитает Центральную Азию своим отъезжим полем. Да... Я думаю, что вас еще тогда не было на свете.

Федор (сухо перебив Скворцова):

А что сейчас происходит в России?

Скворцов:

Как вам сказать...

Адвокат (протискиваясь и пожимая руку Федору):

Здравствуйте, Федор Константинович, здравствуйте, дорогой.

Васильев (поднявшись со своего места и на мгновение опершись о столешницу легким прикосновением пальцев):

Дамы и господа, объявляю собрание открытым. Господин Буш, прочтет нам свою новую, свою философскую трагедию.

Герман Иванович Буш, пожилой, застенчивый, крепкого сложения, симпатичный рижанин, похожий лицом на Бетховена, садится за столик ампир, гулко откашливается, разворачивает рукопись; у него заметно дрожат руки и продолжают дрожать во все время чтения.

Ат:

Уже в самом начале наметился путь беды. Курьезное произношение чтеца было несовместимо с темнотою смысла.

Буш (читает по рукописи):

Первая Проститутка. Всё есть вода. Так говорит гость мой Фалес.

Вторая Проститутка. Всё есть воздух, сказал мне юный Анаксимен.

Третья Проститутка. Всё есть число. Мой лысый Пифагор не может ошибиться.

Четвертая Проститутка. Гераклит ласкает меня, шептая: всё есть огонь.

Спутник (входит). Всё есть судьба.

Недоуменно обмениваются взглядами несколько человек, Кончеев медленно и осторожно берет с этажерки большую книгу (альбом персидских миниатюр), медленно ее поворачивает то так, то саяк на коленях и начинает ее тихо и медленно рассматривать. У Чернышевской – удивленный и оскорбленный вид.

Буш читает быстро, его лоснящиеся скулы вращаются, горит подковка в черном галстуке, ноги под столиком стоят носками внутрь.

Васильев так тяжело поворачивается на стуле, что он неожиданно треснул, поддалась ножка, и Васильев рванулся, переменявшись в лице, но не упал. Звериный, ликующий взрыв, чтение прерывается; пока Васильев переселяется на другой стул,

Буш что-то отмечает в рукописи карандашиком и приступает к дальнейшему чтению:

Торговка Лилий. Ты сегодня чем-то огорчаешься, сестрица.

Торговка Разных Цветов. Да, мне гадалка сказала, что моя дочь выйдет замуж за вчерашнего прохожего.

Дочь. Ах, я даже его не заметила.

Торговка Лилий. И он не заметил ее.

Хор. Слушайте, слушайте!

Занавес (*с легким ударением на последнем слове*)

Васильев:

Дамы и господа, перерыв.

Чернышевская (гневно):

Скажите, что это такое?

Васильев (виновато-благодарно):

Ну что ж, бывает, ну, знаете...

Чернышевская:

Нет, я вас спрашиваю, что это такое?

Васильев:

Да что ж я, матушка, могу?

Чернышевская:

Но вы же читали раньше, он вам приносил в редакцию? Вы же говорили, что это серьезная, интересная вещь. Значительная вещь.

Васильев:

Да, конечно, первое впечатление, пробежал, знаете, – не учел, как будет звучать... Попался! Я сам удивляюсь. Да вы пойдите к нему, Александра Яковлевна, скажите ему что-нибудь.

Федора Константиновича взял повыше локтя адвокат.

Адвокат:

Вас-то мне и нужно. Мне вдруг пришла мысль, что это что-то для вас. Ко мне обратился клиент, ему требуется перевести на немецкий кое-какие свои бумаги для бракоразводного процесса, не правда ли. Там, у его немцев, которые дело ведут, служит одна русская барышня, но она, кажется, сумеет сделать только часть, надо еще помощника. Вы бы взяли за это? Дайте-ка, я запишу ваш номер.

Васильев:

Господа, прошу по местам. Сейчас начнутся прения по поводу заслушанного. Прошу желающих записываться.

Кончеев, сутулясь и заложив руку за борт пиджака, извилисто пробирается к выходу. Федор следует за ним.

Занавес

Акт четвертый

Вымышленный диалог по самоучителю вдохновения

Ночная берлинская улица 20-х годов 20-го века. В перспективе видна трамвайная остановка. На улицу медленно выходят Годунов-Чердынцев и Кончеев.

Федор:

Какая скверная погода.

Кончеев:

Да, совсем холодно.

Федор:

Паршиво... Вы живете в каких же краях?

Кончеев:

А в Шарлоттенбурге.

Федор:

Ну, это не особенно близко. Пешком?

Кончеев:

Пешком, пешком. Кажется, мне тут нужно...

Федор:

Да, вам направо, мне – напрямик.

Федор прощается с Кончеевым. Кончеев уходит со сцены, а Федор удаляется по улице; в свете фонарей видна его спина и слышен его разговор с Кончеевым, причем, когда раздастся голос Кончеева, возникает проекция его фигуры на сцене.

Федор:

...Но постойте, постойте, я вас провожу. Вы, поди, полуночник, и не мне, стать, учить вас черному очарованию каменных прогулок. Так вы не слушали бедного чтеца?

Кончеев:

Вначале только – и то вполуха. Однако я вовсе не думаю, что это было так уж скверно.

Федор:

Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли вы там одной – разительное сходство! – из коллекции петербургской публичной библиотеки – ее писал, кажется, Риза Аббаса, лет триста тому назад: на коленях, в борьбе с драконятами, носатый, усатый... Сталин.

Кстати, мне сегодня попало в «Газете», – не знаю уж, чей грех: «На Тебе, Боже, что мне негоже». Я в этом усматриваю обожествление калик.

Кончеев:

Или память о каиновых жертвоприношениях.

Сойдемся на плутнях звательного падежа, – и поговорим лучше «о Шиллере, о подвигах, о славе», – если позволите маленькую амальгаму. Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов.

Федор:

Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы «мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни».

Кончеев:

Благодарю за учтивую цитату. Вы как – по-настоящему любите литературу?

Федор:

Полагаю, что да. Видите ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и подстольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком

Кончеев:

Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает – после самого снисходительного отбора – не более трех – трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш Пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро.

Федор:

Дайте мне, пожалуй, примеры, чтобы я мог опровергнуть их.

Кончеев:

Извольте: если раскрыть Гончарова или...

Федор:

Стойте! Неужели вы желаете помянуть добрым словом Обломова. «Россию погубили два Ильича», – так, что ли? Или вы собираетесь поговорить о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? Или, может быть, – стиль? Помните, как у Райского в минуту задумчивости переливается в губах розовая влага? – точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?

Кончеев:

Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд...

Федор:

Что вы скажете, например, о Лескове?

Кончеев:

Да что ж... У него в слогe попадаются забавные англицизмы, вроде «это была дурная вещь» вместо «плохо дело». Но всякие там нарочитые «аболоны»... нет, увольте, мне не смешно. А многословие... матушки! «Соборян» без урона можно было бы сократить до двух газетных подвалов. И я не знаю, что хуже – его добродетельные британцы или добродетельные попы.

Федор:

Ну, а все-таки. Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напмаженным, зевом? Или молния, ночью, освещающая подробно комнату, – вплоть до магнeзии, осевшей на серебряной ложке?

Кончеев:

Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: *lividus*. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, – и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком!

Федор:

Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? «Русалка»...

Кончеев:

Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы. А вон там, в чеховской корзине, провиант на много лет вперед, да щенок, который делает «уюм, уюм, уюм», да бутылка крымского.

Федор:

Погодите, вернемся к дедам. Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. Тургенев? Достоевский?

Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, – вот вам Достоевский. «Оговорюсь», как выражается Мортус. В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит, – если принять ваш подход. Так неужели ж у Тургенева все благополучно? Вспомните эти дурацкие тэтатэты в акатниках? Рычание и трепет Базарова? Его совершенно неубедительная возня с лягушками? И вообще – не знаю, переносите ли вы особую интонацию тургеневского многоточия и жеманное окончание глав? Или всё простим ему за серый отлив черных шелков, за русачью полежку иной его фразы? Мой отец находил

вопиющие ошибки в его и толстовских описаниях природы, и уж про Аксакова нечего говорить, добавлялон, – это стыд и срам.

Кончеев:

Быть может, если мертвые тела убраны, мы примемся за поэтов? Как вы думаете? Кстати, о мертвых телах. Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский «знакомый труп» – это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать «труп знакомого», – иначе ведь непонятно: знакомство посмертное контекстом не оправдано.

Федор:

У меня все больше Тютчев последнее время ночует.

Кончеев:

Славный постоялец. А как вы насчет ямба Некрасова – нету на него позова?

Федор:

Как же. Давайте-ка мне это рыданице в голосе: «загородись двойною рамою, напрасно горниц не студи, простишь с надеждою упрямою и на дорогу не гляди». Кажется, дактилическую рифму я сам ему выпел, от избытка чувств, – как есть особый растяжной перебор у гитаристов. Этого Фет лишен.

Кончеев:

Чувствую, что тайная слабость Фета – рассудочность и подчеркивание антитез – от вас не скрылась?

Федор:

Наши общественно настроенные олухи понимали его иначе. Нет, я все ему прощаю за «прозвенело в померкшем лугу», за росу счастья, за дышащую бабочку.

Кончеев:

Переходим в следующий век: осторожно, ступенька. Мы с вами начали бредить стихами рано, не правда ли? Напомните мне, как это все было? «Как дышат края облаков...» Боже мой!

Федор:

Или освещенные с другого бока «Облака небывалой улады». О, тут разборчивость была бы преступлением. Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающих на «Б», – пять чувств новой русской поэзии.

Кончеев:

Интересно, которому именно вы отводите вкус. Да-да, я знаю, есть афоризмы, которые, как самолеты, держатся только пока находятся в движении. Но мы говорили о заре... С чего у вас началось?

Федор:

С прозрения азбуки. Простите, это звучит изломом, но дело в том, что у меня с детства в сильнейшей и подробнейшей степени цветной слух.

Кончеев:

Так что вы могли бы тоже...

Федор:

Да, но с оттенками, которые ему не снились, – и не сонет, а толстый том. К примеру: различные, многочисленные «а» на тех четырех языках, которыми владею, вижу едва ли не в стольких же тонах – от лаково-черных до занозисто-серых – сколько представляю себе сортов поделочного дерева. Не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание на вату, которую изымали из майковских рам? Такова буква «ы», столь грязная, что словам стыдно начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так смешал сиену жженую и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого «ч»; и вы бы оценили мое сияющее «с», если я мог бы вам насыпать в горсть тех светлых сапфиров, которые я ребенком трогал, дрожа и не понимая, и если отодвинуть в боковом окне фонаря штору, можно было видеть, вдоль набережных фасадов в синей черноте ночи изумительно неподвижные, грозно-алмазные вензеля, цветные венцы...

Кончеев:

Огненные буквы, одним словом... Да, я уже знаю наперед. Хотите, я вам доскажу эту банальную и щемящую душу повесть? Как вы упивались первыми попавшимися стихами. Как в десять лет писали драмы, а в пятнадцать элегии, – и всё о закатах, закатах... «И медленно, пройдя меж пьяными...» Кстати, кто она была такая?

Федор:

Молодая замужняя женщина. Продолжалось неполных два года, до бегства из России. Она была так хороша, так мила – знаете, большие глаза и немного костлявые руки, – что я как-то до сих пор остался ей верен. От стихов она требовала только ямщикнегилошадейности, обожала играть в покер, а погибла от сыпного тифа – Бог знает где, Бог знает как...

Кончеев:

А теперь что будет? Стоит, по-вашему, продолжать?

Федор:

Еще бы! До самого конца.

Кончеев:

Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести.

Федор:

Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения.

Занавес

Акт пятый

Открытый литературный вечер

Большой, берлинский зал общества зубных врачей, по стенам портреты маститых дантистов; народу мало. В первом ряду сидит Елизавета Павловна. Увидев ее, к ней направляется Чернышевская. На сцене длинный стол, за ним, не торопясь, усаживаются писатель с именем, Ростислав Странный, трое молодых поэтов, пожилой в пенсне, две барышни, Кончеев и Годунов-Чердынцев. Среди публики, в средних рядах, – Зина Мерц.

Ат (медленно читается авторский текст, прожектор останавливается конкретно на том литераторе, о котором идет речь):

Наконец начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами; он прочел толково-бытовым говорком повесть из петербургской жизни накануне революции, с героиней нюхавшей эфир, шикарными шпионами, шампанским, Распутиным и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе стооком, под небесами чуждыми: ради красоты, эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетали, и почему-то раз десять повторялось слово «сторожко» («она сторожко улыбку роняла», «зацветали каштаны сторожко»). После перерыва густо пошел поэт: высокий юноша с пугливичным лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенсне, еще барышня, еще молодой, наконец – Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки и так изумительно было, что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеобразное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступил Годунов-Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила, – русское:

Березы желтые немеют в небе синем... —

и берлинское, начинающееся строфой:

Здесь все так плоско, так непрочное,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена... —

и то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в шестнадцать лет любил:

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
«Скажи мне, – спросил я, – до гроба
запомнишь – вон ласточку ту?»
И ты отвечала: «Еще бы!»

И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету...
До завтра, навеки, до гроба, —

однажды на старом мосту...

Но было уже поздно, многие продвигались к выходу, какая-то дама одевалась спиной к эстраде, ему аплодировали жидко...

Чернышевская (вставая с места и обращаясь к Елизавете Павловне):
Можно вас поцеловать?

*Чернышевская трогательно целует Елизавету Павловну в щечку.
Занавес опускается, на сцене остается Федор.*

Ат:

Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе.

На сцену выходит Елизавета Павловна. Вместе с Федором (на экране изображение берлинского вокзала 20-х годов 20-го века) она ждет прибытия парижского скорого поезда.

Елизавета Павловна (весело, на прощание):

Хочу тебе кое-что предложить. У меня осталось около семидесяти марок, они мне совершенно не нужны, а тебе необходимо лучше питаться, не могу видеть, какой ты худенький. На, возьми.

Федор:

С удовольствием.

Занавес

Акт шестой

Пушкин

Обстановка комнаты Федора (из первого акта).

Ат:

Задумчивый, рассеянный, смутно мучимый мыслью, что матери он как бы не сказал самого главного, Федор Константинович вернулся к себе, разулся, отломил с обрывком серебра угол плитки, придвинул к себе раскрытую на диване книгу...

На экране появляется портрет Пушкина.

раньше, в юности, пропускал некоторые страницы, – «Анжелло», «Путешествие в Арзрум», – но последнее время именно в них находил особенное наслаждение: только что попались слова: «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой», как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папиросами. «Жатва струилась, ожидая серпа». Опять этот божественный укол! А как звала, как по д с к а з ы в а л а строка о Тереке («то-то был он ужасен!») или – еще точнее, еще ближе –

о татарских женщинах: «Оне сидели верхами, окутанные в чадры: видны были у них только глаза да каблуки».

Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона – и уже знал, чего именно этот звук от него требует.

Но он еще ждал, – от задуманного труда веяло счастьем, он спешкой боялся это счастье испортить, да и сложная ответственность труда пугала его, он к нему не был еще готов. В течение всей весны продолжался тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, – живым примером служило:

Не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный.

Закаляя мускулы музыки, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами «Пугачева», выученными наизусть. За груневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий на Симеона Вырина смотритель, и так же стояли горшки с бальзамино. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных виденьях первосонья.

Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную руку, пахнущую утренним калачом. Он помнил, что няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна, – из-за Гатчины, с Суйды: это было в часе езды от их мест – и она тоже говорила «эдак певком».

Без отдыха, с упоением, он теперь по-настоящему готовился к работе, собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца. Знакомые тома «Путешествия натуралиста» в незнакомых черно-зеленых обложках лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск. Там он однажды наткнулся на замечательные «Очерки прошлого» А.Н.Сухощюкова.

Говорят, – писал Сухощюков, – что человек, которому отрубили по бедру ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть, в его роковой участи, да и сам он чувствовал, что с роком у него были и будут особые счета. В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность – была ему хорошо знакома.

Опускается занавес, на полотно которого проецируются кадры из фильма «Ключи Набокова», со слов: «Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое – вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, – я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется, – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество».

<http://www.verbolev.com/#!/film/ccam> (хронометраж кадров: 1 мин. 15 сек. 21.21 – 22.34)

Действие второе

Тихо звучит романс «Белой акации гроздь душистые».

Ат (читает Федор):

Внешним толчком к прекращению работы послужил для Федора Константиновича переезд на другую квартиру. К чести его хозяйки следует сказать, что она долго, два года, терпела его. Но когда ей представилась возможность получить с апреля жилищу идеальную – пожилую барышню, встающую в половине восьмого, сидящую в конторе до шести, ужи-нающую у своей сестры и ложающуюся спать в десять, – фрау Стобой попросила Федора Константиновича подыскать себе в течение месяца другой кров. Он же все откладывал эти поиски, не только по лени и оптимистической склонности придавать дарованному отрезку времени округлую форму бесконечности, но еще потому, что ему было нестерпимо противно вторгаться в чужие миры для высматривания себе места.

Чернышевская, впрочем, обещала ему свое содействие.

Акт первый

Телефонные переговоры

Гостиная в квартире Чернышевских (обстановка из второго акта 1-го действия). Александра Яковлевна сидит на диване, рядом столик с телефонным аппаратом. Вошедший Федор Константинович останавливается у книжной полки.

Александра Яковлевна (А.Я.):

У меня, кажется, для вас что-то имеется. Вы раз видели у меня Тамару Григорьевну, такую армянскую даму. Она до сих пор снимала комнату у одних русских и, оказывается, теперь ищет, кому ее передать.

Федор (беспечно):

Значит, было плохо, если ищет.

А.Я.:

Нет, она просто вернулась к мужу. Впрочем, если Вам заранее не нравится, я хлопотать не стану, – я совсем не люблю хлопотать.

Федор:

Не обижайтесь, очень нравится, клянусь.

А.Я.:

Понятно, не исключается, что уже сдано, но я все-таки советовала бы вам с ней созво-ниться.

Федор:

О, непременно.

А.Я. (перелистывая черную записную книжку):

Так как я знаю вас, и так как знаю, что вы сами никогда не позвоните...

Федор:

Завтра же.

А.Я.:

...так как вы этого никогда не сделаете... Уланд сорок восемь тридцать один... то сделаю это я. Сейчас соединю вас, и вы у нее все спросите.

Федор (взволнованно):

Постойте, постойте, я абсолютно не знаю, что нужно спрашивать.

А.Я.:

Не беспокойтесь, она сама вам все скажет.

Александра Яковлевна, быстрым шепотом повторив номер, потянулась к столику с аппаратом. Как только она приложила трубку к уху, тело ее на диване приняло привычную телефонную позу, (полулежащую), оправила, не глядя, юбку, голубые глаза задвигались туда и сюда в ожидании соединения.

А.Я.:

Хорошо бы...

барышня откликнулась, и А.Я. сказала номер с каким-то абстрактным увещанием в тоне и особым ритмом в произношении цифр – точно 48 было тезисом, а 31 антитезисом, – прибавив в виде синтеза: яволь.

...Хорошо бы, если б она пошла туда с вами. Я уверена, что вы никогда в жизни...

Вдруг, с улыбкой опустив глаза, поведя полненьким плечом, слегка скрестив вытянутые ноги:

Тамара Григорьевна? новым голосом, мягким и приглашающим. Тихо засмеялась, слушая, и уцепилась складку на юбке.

Да, это я, вы правы. Мне казалось, что вы, как всегда, меня не узнаете. Хорошо, – скажем: часто.

Усаживая тон свой еще уютнее:

Ну, что у вас слышно?

Слушает, что слышно, мигая; подталкивает коробку с зеленым мармеладом по направлению к Федору Константиновичу; носки ее маленьких ног в потертых бархатных башмачках начинают легонько тереться друг о друга; перестают.

А.Я.:

Да, мне уже об этом говорили, но я думала, что у него есть постоянная практика.

Продолжает слушать. В тишине раздается бесконечно малая дробь потустороннего голоса.

Ну, это глупости, ах, это глупости.

(через минуту): Значит, вот у вас какие дела.

со вздохом: Да так себе, ничего нового. Александр Яковлевич здоров, занимается своим делом, сейчас в концерте, а я так, ничего особенного не делаю. У меня сейчас сидит... Ну,

конечно, развлекает его, но вы не можете себе представить, как я иногда мечтаю куда-нибудь с ним поехать хотя бы на месяц. Что вы? Нет, не знаю куда. Вообще иногда очень на душе тяжело, а так ничего нового.

Медленно осмотрела свою ладонь, да так и осталась с приподнятой рукой.

Тамара Григорьевна, у меня сейчас сидит Годунов-Чердынцев. Между прочим, он ищет комнату. У ваших этих еще свободно? А, это чудно. Погодите, передаю трубку.

Федор:

Здравствуйте, *(кланяясь телефону)*, мне Александра Яковлевна...

Звучный, так что даже защекотало в среднем ухе, необыкновенно проворный и отчетливый голос сразу завладел разговором.

Голос Тамары Григорьевны *(быстро рассказывает)*:

Комната еще не сдана, и они как раз очень хотели бы русского жильца. Я вам сейчас скажу, кто они. Фамилия – Щеголев, это вам ничего не говорит, но он был в России прокурором, очень, очень культурный, симпатичный человек... И, значит, жена его, тоже милейшая, и дочь от первого брака. Теперь так: живут они на Агамемнонштрассе, 15, чудный район, квартира малюсенькая, но хох-модерн, центральное отопление, ванна, – одним словом, все-все-все. Комната, в которой вы будете жить, – прелесть, но, —

(с оттяжкой), – выходит во двор, это, конечно, маленький минус. Я вам скажу, сколько я за нее платила, я платила за нее тридцать пять марок в месяц. Чудный кауч, тишина. Ну вот. Что вам еще сказать? Я у них столовалась и должна признаться, что отлично, отлично, но о цене вы сами столкнетесь, я была на диете. Теперь мы сделаем так. Я у них завтра все равно буду утром, так в пол-одиннадцатого, я очень точна, и вы туда, значит, приходите.

Федор:

Одну минуточку, одну минуточку. Я завтра, кажется... Может быть, лучше будет, если я вам...

Он хотел сказать: «Позвоню» – но Александра Яковлевна, сидевшая близко, сделала такие глаза, что он, переглотнув, тотчас поправился:

Федор *(без оживления)*:

Да, в общем, могу, благодарю вас, я приду.

Голос Тамары Григорьевны *(повествовательно)*:

Ну вот... – значит, Агамемнонштрассе, 15, третий этаж, есть лифт. Так мы и сделаем. До завтра, буду очень рада.

Федор:

До свидания.

Занавес

Акт второй

Осмотр нового жилища

Передняя квартиры Щеголевых. Щеголев в дверях встречает Федора Константиновича.

Щеголев:

Годунов-Чердынцев? Годунов-Чердынцев, как же, как же, известнейшая фамилия. Я знавал... позвольте – это не батюшка ли ваш, Олег Кириллович? Ага, дядя. Где же он обретается теперь? В Филадельфии? Ну, это не близко. Смотрите, куда забрасывает нашего брата! Так, так. Ну-с, давайте, *не откладывая долго* в ящик, покажу вам апартамент.

Щеголев показывает Федору квартиру. Из передней направо короткий проход, сразу сворачивающий под прямым углом направо же и в виде зачаточного коридора упирающийся в полуоткрытую дверь кухни. По его левой стене виднелись две двери, первую из которых Щеголев, энергично нажав, отпахнул. Маленькая, продолговатая комната с крашенными вохрой стенами, столом у окна, кушеткой вдоль одной стены и шкафом у другой.

Щеголев (*бодро*):

Ну-с вот, а тут рядом ванная. Тут немножко не убрано. Теперь, если разрешите...

Щеголев сильно сталкивается с Федором, повернувшись в узком проходе, и, виновато охая, хватая его за плечо. Возвращаются в прихожую.

Щеголев:

Тут комната дочки, тут – наша.

(Указывает на две двери, слева и справа.) А вот столовая —

Отворяет дверь в глубине, держит ее на несколько секунд в открытом положении. Федор минует взглядом стол, вазу с орехами, буфет... У дальнего окна, где стоят бамбуковый столик и высокое кресло, вольно и воздушно лежит поперек его подлокотников голубоватое газовое платье, очень короткое...

Щеголев:

Вот и все (*осторожно затворив дверь*), видите, – уютно, по-семейному, все у нас небольшое, но все есть. Ежели пожелаете получать от нас харчи, милости просим, поговорим об этом с моей супружницей, она, между нами, готовит неплохо. За комнату будем у вас по знакомству брать столько же, сколько у мадам Абрамовой, притеснять не будем, будете жить, как Христос за пазухой
(*сочно рассмеялся*)

Федор:

Да, мне комната, кажется, подходит (*стараясь не глядеть на Щеголева*). Я, собственно, хотел бы уже в среду въехать.

Щеголев:

Сделайте одолжение.

Занавес

Акт третий

Обед у Щеголевых

Столовая в квартире Щеголевых. Марианна Николаевна разливает суп по тарелкам. Стол сервирован на 4 персоны. Щеголев и Федор рассказывают по своим местам, причем последний перед тем целует руку Марианны Николаевны. Ее дочь подходит к столу медленными шажками, садится с изыщной вялостью – папирота в длинных пальцах. Щеголев выпивает стопку водочки, засовывает салфетку за воротник и начинает хлебать, приветливо и опасно поглядывая на падчерицу. Она медленно размешивает в борще сметану, но затем, пожав плечом, оставляет тарелку. Марианна Николаевна, угрюмо следившая за ней, бросает салфетку и выходит из столовой.

Щеголев (вытягивая мокрые губы):
Поешь, Аида.

Зина Мерц не отвечает, поворачивается на стуле, достает с буфета сзади пепельницу, ставит у тарелки, сбрасывает пепел. Кладет левый локоть на стол, медленно принимается за суп. Марианна Николаевна возвращается с кухни.

Щеголев (утолив первый голод):
Ну что, Федор Константинович, дело, кажется, подходит к развязке! Полный разрыв с Англией, Хинчука по шапке... Это, знаете, уже пахнет чем-то серьезным. Помните, я еще так недавно говорил, что выстрел Коверды – первый сигнал! Война! Нужно быть очень и очень наивным, чтобы отрицать ее неизбежность. Посудите сами, на востоке Япония не может потерпеть...

Ат (читает артист, играющий Федора):
И Щеголев пошел рассуждать о политике. Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в стройную схему, следуя которой логический и трезвый ум (его ум, в данном случае) без труда может объяснить и предвидеть множество мировых событий. Названия стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как ярлыки на более или менее полных сосудах, содержание которых он переливал так и этак. Франция того-то боялась и потому никогда бы не допустила. Англия того-то добивалась. Этот политический деятель жаждал сближения, а тот – увеличить свой престиж. Кто-то замыслил и кто-то к чему-то стремился. Словом – мир, создаваемый им, получался каким-то собранием ограниченных, безъюморных, безликих, отвлеченных драчунов, и чем больше он находил в их взаимных действиях ума, хитрости, предусмотрительности, тем становился этот мир глупее, пошлее и проще. Сейчас, слушая его, Федор Константинович поражался семейному сходству именуемых Щеголевым стран с различными частями тела самого Щеголева: так, «Франция соответствовала его предостерегающе приподнятым бровям; какие-то «лимитрофы» – волосам в ноздрях, какой-то «польский коридор» шел по его пищеводу; в «Данциге» был щелк зубов. А сидел Щеголев на России.

Он проговорил весь обед (гуляш, кисель) и, ковыряя сломанной спичкой в зубах, пошел соснуть. Марианна Николаевна, перед тем как сделать то же, занялась мойкой посуды. Дочь, так и не проронив ни слова, отправилась опять на службу.

Занавес

Акт четвертый

Молодой россиянин, распродающий излишек барского воспитания

На сцене макет берлинского перекрестка («ветреного и растрепанного»), в разных углах которого расположены: кирка, сквер, угловая аптека, уборная среди туй, розничный киоск. Быстрым шагом на сцену выходят Федор Константинович и его ученик, которому он преподаёт английский язык, «толстый, бледный юноша в роговых очках, с вечным пером в грудном кармане».

Федор:

Пожалуйста, уделите максимум внимания правильному употреблению совершенного вида прошедшего времени в английском языке. До свиданья!

Они расстаются на перекрестке. Федор пошел к скверу и далее к автобусной остановке на Курфюрстендам. Он не успевает добежать до нужного автобуса и ждет следующего.

Ат (актер, играющий Федора):

...всегдашняя, холодненькая мысль: вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека, занимается Бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, — когда у него свой, из которого он может сделать все что угодно — и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч. Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей, мог преподавать: например — многопланность мышления: смотришь на человека и видишь его так хрустально-ясно, словно сам только что выдул его, а вместе с тем, нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь — как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья, и (все это одновременно) загибается третья мысль — воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, т. е. о чем-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь, обегая снаружи каждое свое слово, а снутри — каждое слово собеседника. Или: пронзительную жалость — к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии «национальные костюмы», к случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй, — ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки, *королевского опыта*, становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще: постоянное чувство, что наши здешние дни — только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор. Всему этому и многому еще другому (начиная с очень редкого и мучительного, так называемого чувства звездного неба, упомянутого, кажется, только в одном научном труде, парке-ровском «Путешествии Духа», — и кончая профессиональными тонкостями в области художественной литературы) он мог учить, и хорошо учить, желающих, но желающих не было — и не могло быть, а жаль, брал бы за час марок сто, как берут иные профессора музыки. И вместе с тем он находил забавным себя же опровергать: все это пустяки, тени пустяков, заносчивые мечтания. Я просто бедный молодой россиянин, распродающий излишек барского воспитания, а в свободное время пописывающий стихи, вот и все мое маленькое бессмертие. Но даже этому переливу многогранной мысли, игре мысли с самой собою, некого было учить.

Ат (читает диктор):

Перейдя Виттенбергскую площадь, где, как в цветном кинематографе, дрожали на ветру розы вокруг античной лестницы, ведущей на подземную станцию, он направился в русскую книжную лавку: между уроками был просвет пустого времени.

На сцене макет берлинской Виттенбергской площади 20-х годов, в разных углах которой расположены огромный универсальный магазин и русский гастрономический, а на переднем плане русская книжная лавка. Федор Константинович выходит на сцену и рассматривает витрину книжной лавки.

Ат (читает диктор):

В витрине виднелось, среди зигзагов, зубцов и цифр советских обложек (это было время, когда в моде там были заглавия «Любовь третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пункт»), несколько эмигрантских новинок: новый, дородный роман генерала Качурина «Красная княжна», кончеевское «Сообщение», белые, чистые книги двух маститых беллетристов, «Чтец-Декламатор», изданный в Риге, крохотная, в ладонь, книжка стихов молодой поэтессы, руководство «Что должен знать шофер» и последний труд доктора Утина «Основы счастливого брака».

Федор заходит в книжную лавку и останавливается у столика, где разложены эмигрантские периодические издания. Он просматривает литературный номер парижской «Газеты», а затем варшавский еженедельный иллюстрированный журнальчик; подходит к другому столу.

Ат (читает диктор):

На другом столе, рядом, были разложены советские издания, и можно было нагнуться над омутом московских газет, над адом скуки, и даже попытаться разобрать сокращения, мучительную тесноту нарицательных инициалов, через всю Россию возимых на убой, – их страшная связь напоминала язык товарных вагонов (бухание буферов, лязг, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования). Между «Звездой» и «Красным Огоньком» (дрожащим в железнодорожном дыму) лежал номер шахматного журнальчика «8 x 8»; Федор Константинович перелистал его, радуясь человеческому языку задачных диаграмм, и заметил статейку с портретом жидкобородого старика, исподлобья глядящего через очки, – статейка была озаглавлена «Чернышевский и шахматы». Он подумал, что это может позабавить Александра Яковлевича, и отчасти по этой причине, отчасти потому, что вообще любил задачи, журнальчик взял.

Федор (обращаясь к барышне, заменяющей хозяина, и предъявляя взятый журнальчик):

Вы не скажите, сколько стоит сей опус?

Барышня (оторвавшись от чтения):

Право, не знаю. Но Вы же нам должны, так что потом рассчитаетесь.

Федор:

Спасибо. До свидания.

Федор Константинович выходит из книжной лавки.

Ат (читает диктор):

Он ушел с приятным чувством, что дома будет развлечение. Не только отменно разбираясь в задачах, но будучи в высшей мере одарен способностью к их составлению, он в этом находил и отдых от литературного труда, и таинственные уроки. Как литератору эти упражнения не проходили даром.

Комната Федора в квартире Щеголевых. Он усаживается за стол.

Ат (читает диктор):

Еще в самом начале своего пребывания на этой квартире Федор Константинович, полагавший, что ему нужен по вечерам полный покой, выговорил себе право получать ужин в комнату. На столе, среди книг, его ждали теперь два серых бутерброда с глянцевиной мозаикой колбасы, чашка остывшего, отяжелевшего чая и тарелка розового киселя (утреннего). Жуя и прихлебывая, он снова раскрыл «8 x 8» (снова глянул на него исподлобья бодеучий Н. Г. Ч.) и тихо стал наслаждаться этюдом, в котором немногочисленные фигуры белых как бы висели над пропастью, а все-таки добивались своего. Отыскалась затем очаровательная четырехходовка американского мастера, красота которой заключалась не только в остроумно запрятанной матовой комбинации, а еще в том, что при соблазнительной, но ошибочной атаке белых черные, путем втягивания и запираания собственных фигур, как раз успевали устроить себе герметический пат. Зато в одном из советских произведений (П. Митрофанов, Тверь) нашелся прелестный пример того, как можно дать маху: у черных было *девять* пешек, — девятую, по-видимому, добавили в последнюю минуту, чтобы заделать непредвиденную брешь, как если бы писатель торопливо заменил в корректуре «ему обязательно расскажут» более грамотным «ему несомненно расскажут», не заметив, что сразу за этим следует «...о ее сомнительной репутации».

Ат (читает актер, играющий Федора):

Вдруг ему стало обидно — отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении «к свету» таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот «свет» горит в окне тюремного надзирателя, только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В сороковых годах? В шестидесятых? И «что делать» теперь? Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала, как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды? Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень.

Занавес

Акт пятый

Первая беседа

Ат (актер, играющий Федора):

Когда он поселился у Щеголевых и увидел ее в первый раз, у него было ощущение, что он уже многое знает о ней, что и имя ее ему давно знакомо, и кое-какие очертания ее жизни,

но до разговора с ней он не мог уяснить, откуда и как это знает. Сначала он видал ее только за обедом и осторожно наблюдал за ней, изучая каждое ее движение. Она едва говорила с ним, хотя по некоторым признакам – не столько по зрачкам, сколько по отливу глаз, как бы направленному в его сторону – он знал, что она замечает каждый его взгляд, двигаясь так, словно была все время ограничена легчайшими покровами того самого впечатления, которое на него производила...

Комната Федора. Он сидит за столом и читает. Стук в дверь. «Надменно-решительным шагом» входит Зина Мерц, «держая в руке небольшую, спрятанную в розовой обертке, книгу».

Зина (быстро и сухо):

У меня к вам просьба. Сделайте мне тут надпись.

Федор берет книгу, узнает в ней сборник своих стихов. Медленно откупоривает пузырьки с чернилами.

Зина:

Только фамилию, – пожалуйста, только фамилию.

Федор расписывается в книге.

Зина:

Ну вот, спасибо.

Федор:

Я только хотел вам насчет моей книжки: это не то, это плохие стихи, то есть не все плохо, но в общем. То, что я за эти два года печатал в «Газете», значительно лучше.

Зина:

Мне очень понравилось то, что вы раз читали на вечере. О ласточке, которая вскрикнула.

Федор:

Ах, вы там были? Да. Но у меня есть еще лучше, уверяю вас.

Зина выходит быстро из комнаты и возвращается с газетными вырезками его и кончеевских стихов.

Зина:

Но у меня, кажется, не всё тут.

Федор:

Я не знал, что это вообще бывает. Буду теперь просить, чтобы делали вокруг такие дырочки пунктиром, – знаете, как талоны, чтоб было легче отрывать.

Зина:

А я знаю, что вы жили на Танненбергской, семь, я часто бывала там.

Федор (с удивлением):

Да что вы.

Зина:

Я знакома еще по Петербургу с женой Лоренца, она мне когда-то давала уроки рисования.

Федор:

Как это странно.

Зина:

А Романов теперь в Мюнхене. – Глубоко противный тип, но я всегда любила его вещи. Достиг полного расцвета. Музеи приобретают... Вы знаете его «Футболиста»? Вот как раз журнал с репродукцией... И я еще кое-что знаю. Вы должны были мне помочь с одним переводом, вам это передавал Чарский, но вы почему-то не объявились.

Федор:

Как это странно.

Занавес

Ат (актер, играющий Федора):

Еще через несколько дней вечером он из своей комнаты подслушал сердитый разговор – о том, что сейчас должны прийти гости и что пора Зине спуститься вниз с ключом. Когда она спустилась, он после краткой внутренней борьбы придумал себе прогулку...

Парадная берлинского дома, где живут Зина и Федор. Зина стоит в бирюзовом джемпере у стеклянной двери, поигрывая ключом, надетым на палец, ярко освещенная. Рядом с ней останавливается Федор.

Зина:

Что-то они не идут.

Федор:

Вы давно ждете? Хотите, я сменю вас?

гаснет электричество

Хотите, я всю ночь тут останусь?

Федор пытается обнять Зину «за призрачные локти», но она уклоняется и быстро нажимает на кнопку, включая свет.

Федор:

Почему?

Зина:

Объясню вам как-нибудь в другой раз.

Федор:

Завтра.

Зина:

Хорошо, завтра. Но только хочу вас предупредить, что никаких разговоров не будет у нас с вами дома. Это – решительно и навсегда.

Федор:

Тогда давайте...

За дверью появляются коренастый полковник Касаткин и его высокая, выцветшая жена.

Полковник Касаткин:

Здравия желаю, красавица.

Федор выходит на улицу.

Занавес

Акт шестой

Свидания

Скамейка в саду, на которой сидят Федор и Зина.

Федор:

Почему же?

Зина:

По пяти причинам. Во-первых, потому что я не немка, во-вторых, потому что только в прошлую среду я разошлась с женихом, в-третьих, потому что это было бы – так, ни к чему, в-четвертых, потому что вы меня совершенно не знаете, в-пятых...

Федор осторожно целует Зину в «горячие, тающие, горестные зубы».

Зина:

Вот потому-то.

Зина перебирает и сильно сжимает пальцы Федора.

Занавес

Ат (читает актер, играющий Федора):

С той поры они встречались каждый вечер. Марианна Николаевна, не смевшая ее никогда ни о чем спрашивать (уже намек на вопрос вызвал бы хорошо знакомую ей бурю), догадывалась, конечно, что дочь ходит к кому-то на свидания, тем более что знала о существовании таинственного жениха. Зина клялась, что никогда не любила его, что тянула с ним вялый роман по безволию и что продолжала бы тянуть, не случись Федора Константиновича. Но особого безволия он в ней не замечал, а замечал смесь женской застенчивости и неженской решительности во всем. Несмотря на сложность ее ума, ей была свойственна убедительнейшая простота, так что она могла позволить себе многое, чего другим бы не разрешалось, и самая быстрота их сближения казалась Федору Константиновичу совершенно естественной при резком свете ее прямоты. Дома она держалась так, что дико было представить себе вечернюю встречу с этой чужой, хмурой барышней, но это не было притворством, а тоже своеобразным видом прямоты. Когда он однажды, шутя, задержал ее в коридорчике, она побледнела от гнева и не явилась на свидание, а затем заставила его клятвенно обещать,

что это никогда не повторится. Очень скоро он понял, почему это было так: домашняя обстановка принадлежала к такому низкопробному сорту, что, на ее фоне, прикосновение рук мимоходом между жильцом и хозяйской дочерью обратилось бы попросту в ш а ш н и.

...Отец Зины, Оскар Григорьевич Мерц, умер от грудной жабы в Берлине четыре года тому назад, и немедленно после его кончины Марианна Николаевна вышла замуж за человека, которого Мерц не пустил бы к себе на порог, за одного из тех бравурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово «жид», как толстую винную ягоду. Когда же симпатяга отсутствовал, то запросто появлялся в доме один из его темноватых деловых знакомцев, тощий балтийский барон, с которым Марианна Николаевна ему изменяла, – и Федор Константинович, раза два барона видевший, с гадливым интересом старался себе представить, что могут друг в друге найти, и если находят, то какова процедура, эта пожилая, рыхлая с жабым лицом женщина и этот немолодой, с гнилыми зубами скелет.

В течение некоторого времени после кончины ее отца к ним по привычке продолжали ходить прежние знакомые и родственники с отцовской стороны; но мало-помалу они редели, отпадали... и только одна старенькая чета долго еще являлась, – жалея Марианну Николаевну, жалея прошлое и стараясь не замечать, как Щеголев уходит к себе в спальню с чаем и газетой. Зина же сохранила до сих пор связь с этим миром, который ее мать предала, и в гостях у прежних друзей семьи необыкновенно менялась, смягчалась, добрела (сама отмечала это), сидя за чайным столом среди мирных разговоров о болезнях, свадьбах и русской литературе.

В семье у себя она была несчастна и несчастье свое презирала. Презирала она и свою службу, даром что ее шеф был еврей, – немецкий, впрочем, еврей, т. е. прежде всего – немец, так что она не стеснялась при Федоре его поносить. Она столь живо, столь горько, с таким образным отвращением рассказывала ему об этой адвокатской конторе, где уже два года служила, что он все видел и все обонял так, словно сам там бывал ежедневно.

Зине приходилось заниматься не только переводами, но, так же как и всем остальным машинисткам, переписыванием длинных приложений, представляемых суду. Часто случалось также стенографировать, при клиенте, сообщаемые им обстоятельства дела, нередко бракоразводного. Эти дела были все довольно мерзостные, комья из всяких слипшихся гадов и глупостей.

На той же скамейке в саду Федор с радостной улыбкой ожидает Зину.

Ат (читает актер, играющий Федора, с одновременным набором текста на экране):

Из темноты, для глаз всегда неожиданно, она как тень внезапно появлялась, от родственной стихии отделяясь. Сначала освещались только ноги, так ставимые тесно, что казалось, она идет по тонкому канату. Она была в коротком летнем платье ночного цвета – цвета фонарей, теней, стволов, лоснящейся панели: бледнее рук ее, темней лица.

Появляется Зина и сразу же начинает говорить.

Зина (сердито):

Тебе только смешно, но, честное слово, я больше не могу, не могу, и я бы тотчас всю эту мразь бросила, если б не знала, что в другой конторе будет такая же мразь или хуже. Эта усталость по вечерам – это что-то феноменальное, это не поддается никакому описанию. Куда я сейчас гоюсь? У меня так хребет ломит от машинки, что хочется выть. И главное, это никогда не кончится, потому что если бы это кончилось, то нечего было бы есть, – ведь мама ничего не может, – она даже в кухарки не может пойти, потому что будет рыдать

на чужой кухне и бить посуду, а гад умеет только прогорать, – по-моему, он уже прогорел, когда родился. Ты не знаешь, как я его ненавижу, этого хама, хама, хама...

Федор:

Так ты его съешь. У меня тоже был довольно несимпатичный день. Хотел стихи для тебя, но они как-то еще не очистились.

Ат (голос Федора, выразительно читает свои стихи, набираемые на экране):

Под липовым цветением мигает
фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень
прохожего по тумбе пробегает,
как соболь пробегает через пень.
За пустырем, как персик, небо тает:
вода в огнях, Венеция сквозит —
а улица кончается в Китае,
а та звезда над Волгою висит.
О, поклянись, что веришь в небылицу,
что будешь только вымыслу верна,
что не запрешь души своей в темницу,
не скажешь, руку протянув: стена.

Зина:

Милый мой, радость моя, – неужели это все правда, – этот забор и мутненькая звезда? Когда я была маленькой, я не любила рисовать ничего некончающегося, так что заборов не рисовала, ведь это на бумаге не кончается, нельзя себе представить кончающийся забор, – а всегда что-нибудь завершенное: пирамиду, дом на горе.

Федор:

А я любил больше всего горизонт и такие штрихи – всё мельче и мельче: получалось солнце за морем.

Зина:

Не представляю себе, чтобы мы могли не быть. Во всяком случае, мне бы не хотелось ни во что обращаться.

Федор:

В рассеянный свет? Как ты насчет этого? Не очень, по-моему? Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы. Жаль, что нельзя представить то, что не с чем сравнить. Гений – это негр, который во сне видит снег. Знаешь, что больше всего поражало самых первых русских паломников по пути через Европу?

Зина

Музыка?

Федор:

Нет, – городские фонтаны, мокрые статуи.

Зина:

Мне иногда досадно, что ты не чувствуешь музыки. У моего отца был такой слух, что он, бывало, лежит на диване и напевает целую оперу, с начала до конца. Раз он так лежал, а в соседнюю комнату кто-то вошел и заговорил там с мамой, – и он мне сказал: «Этот голос принадлежит такому-то, двадцать лет тому назад я его видел в Карлсбаде, и он мне обещал когда-нибудь приехать». Вот какой был слух.

Федор

А я сегодня встретил Лишневого, и он мне рассказал про какого-то своего знакомого, который жаловался, что в Карлсбаде теперь совсем не то, – а раньше что было! пьешь воду, а рядом с тобой король Эдуард, прекрасный, видный мужчина... костюм из настоящего английского сукна... Ну что ты обиделась? В чем дело?

Зина:

Ах, все равно. Некоторых вещей ты никогда не поймешь.

Федор:

Перестань. Почему тут горячо, а тут холодно? Тебе холодно? Посмотри лучше, какая бабочка около фонаря.

Зина:

Я уже давно ее вижу.

Федор:

Хочешь, я тебе расскажу, почему бабочки летят на свет? Никто этого не знает.

Зина:

А ты знаешь?

Федор:

Мне всегда кажется, что я вот-вот догадаюсь, если хорошенько подумаю. Мой отец говорил, что это больше всего похоже на потерю равновесия, как вот неопытного велосипедиста притягивает канава. Свет по сравнению с темнотой пустота. Как она вертится! Но тут еще что-то есть, – вот-вот пойму.

Зина:

Мне жалко, что ты так и не написал своей книги. Ах, у меня тысяча планов для тебя. Я так ясно чувствую, что ты когда-нибудь размахнешься. Напиши что-нибудь огромное, чтоб все ахнули.

Федор (шутливо):

Я напишу биографию Чернышевского.

Зина:

Все что хочешь. Но чтобы это было совсем, совсем настоящее. Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова.

Федор:

Или роман. Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и напишу. Скажи-ка, между прочим, как ты в общем себе представляешь: мы всю жизнь будем встречаться так, рядком на скамейке?

Зина (певуче-мечтательным голосом):

О нет. Зимой мы поедem на бал, а еще этим летом, когда у меня будет отпуск, я поеду на две недели к морю и пришлю тебе открытку с прибором.

Занавес

Акт седьмой

Щеголев

Ат (актер, играющий Федора):

Если бывало мучительно знать порою, что Зина одна в квартире, и по уговору к ней не выходить, было совсем в другом роде мучительно, когда один в доме оставался Щеголев. Не любя одиночества, Борис Иванович начинал скучать, и Федор Константинович слышал из своей комнаты шуршащий рост этой скуки, точно квартира медленно зарастала лопухами – вот уже подступавшими к его двери.

Комната Федора. Он лежит, распластавшись на кушетке. Раздается «зловещий, деликатный стук, и, бочком, ужасно улыбаясь, в комнату втискивается Борис Иванович.

Щеголев:

Вы спали? Я вам не помешал? *Садится в ногах у Федора.*

(вздыхая) Ох, тоска, Федор Константинович, – тощища, тощища.

...Встает, замечает исписанные листочки на столе у Федора, и говорит, «взяв какой-то новый, прочувствованный тон»: Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман нака-тал... Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, – но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, – знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, – знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Блед-ненькая, легонькая, под глазами синева, – и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, не долго думая, он, видите ли, на вдове женится. Хорошо-с. Вот зажили втроем. Тут можно без конца описывать – соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем – просчет. Время бежит-летит, он стареет, она расцветает, – и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского? Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем, в некотором царстве, в некотором самоварстве, во времена царя Гороха. Каково?

Борис Иванович надувает губы и издает меланхолический лопаящийся звук.

Ат (актер, играющий Федора):

Он был щедр на рассказы из судебной практики в провинции и на еврейские анекдоты. Вместо «выпили шампанского и отправились в путь», он выражался так:

(актер, играющий Щеголева) «раздавили флакон – и айда».

Ат (актер, играющий Федора):

Как у большинства говорунов, у него в воспоминаниях всегда попадался какой-нибудь необыкновенный собеседник, без конца рассказывавший ему интересные вещи, – *(голос*

Щеголева, довольно неучтиво: «второго такого умницы я в жизни не встречал»), а так как нельзя было представить себе Бориса Ивановича в качестве молчаливого слушателя, то приходилось допустить, что это было своего рода раздвоением личности.

Щеголев:

Моя супруга-подруга, лет двадцать прожила с иудеем и обросла целым кагалом. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этот дух. У Зинки, нет, слава Богу, ничего специфического, – посмотрели бы на ее кузину – такая, знаете, жирная брюнеточка с усиками. Мне иногда даже приходит в башку мысль, – а что, если моя Марианна Николаевна, когда была мадам Мерц... Все-таки ведь тянуло же ее к своим, – пускай она вам как-нибудь расскажет, как задыхалась в этой атмосфере, какие были родственнички – ой, Бозе мой, – гвалт за столом, а она разливает чай: шутка ли сказать, – мать фрейлина, сама смолянка, а вот вышла за жида – до сих пор не может объяснить, как это случилось: богат был, говорит, а я глупа, познакомились в Ницце, бежала с ним в Рим, – знаете, на вольном-то воздухе все казалось иначе, ну а когда потом попала в семейную обстановочку, поняла, что влипла.

Ат (актер, играющий Федора):

Зина об этом рассказывала по-другому. Судя по ее словам, судя также по его фотографиям, это был изящный, благородный, умный и мягкий человек, – даже на этих негибких петербургских снимках с золотой тисненой подписью по толстому картону, которые она показывала Федору Константиновичу ночью под фонарем, старомодная пышность светлого уса и высота воротничков ничем не портили тонкого лица с прямым смеющимся взглядом. Она рассказывала о его надушенном платке, о страсти его к рысакам и к музыке; о том, как в юности он однажды разгромил заезжего grossмейстера, или о том, как читал наизусть Гомера: рассказывала, подбирая то, что могло бы затронуть воображение Федора, так как ей казалось, что он отзывается лениво и скучно на ее воспоминания об отце, т. е. на самое драгоценное, что у нее было показать. Он сам замечал в себе эту странную заторможенность отзывчивости. В Зине была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненно заостренную гордость, так что, даже говоря с Федором Константиновичем, она упоминала о своей породе с вызывающей выразительностью, словно подчеркивая, что не допускает (а тем самым все-таки допускала), чтоб он относился к евреям, если не с неприязнью, в той или иной степени присущей большинству русских людей, то с зябкой усмешкой принудительного доброхотства. Вначале она так натягивала эти струны, что ему, которому вообще было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения, становилось за нее чуть-чуть неловко, а с другой стороны, под влиянием ее горячей настоженной гордыни он начинал ощущать какой-то личный стыд, оттого что молча выслушивал мерзкий вздор Щеголева и то нарочито гортанное коверкание русской речи, которым тот с наслаждением занимался, – например, говоря мокрому гостю, наследившему на ковре: «Ой, какой вы наследник!»

(последние слова голосом Щеголева)

Занавес

АКТ ВОСЬМОЙ

В гостях у старых друзей

Гостиная Чернышевских. За столом сидят: чета Чернышевских, инженер Керн и Горяинов. Входит Федор Константинович.

Александра Яковлевна:

Вы все по-прежнему довольны квартирой? Ну, я очень рада. Не ухаживаете за дочкой? Нет? Между прочим, я как-то вспоминала, что когда-то у меня были общие знакомые с Мерцем, – это был отличный человек, джентльмен во всех смыслах, – но я думаю, что она не очень охотно признается в своем происхождении. Признается? Ну, не знаю. Думаю, что вы плохо разбираетесь в этом.

Во время этого монолога Федор, попутно кивая, подходит к столу и усаживается на свободное место.

Инженер Керн:

Барышня, во всяком случае, с характером. Я раз видел ее на заседании бального комитета. Ей было все не по носу.

Александра Яковлевна:

А нос какой?

Инженер Керн:

Знаете, я, по правде сказать, не очень ее разглядывал, ведь в конце концов, все барышни метят в красавицы. Не будем злы.

Александр Яковлевич подсаживается к Федору.

Александр Яковлевич:

Ну что, брат, что скажете хорошего? Выглядите вы неважно.

Федор:

Помните, как-то, года три тому назад, вы мне дали благой совет описать жизнь вашего знаменитого однофамильца?

Александр Яковлевич:

Абсолютно не помню.

Федор:

Жаль, – потому что я теперь подумываю приняться за это.

Александр Яковлевич:

Да ну? Вы это серьезно?

Федор:

Совершенно серьезно.

Александра Яковлевна:

А почему вам явилась такая дикая мысль? Ну, написали бы, – я не знаю, – ну, жизнь Батюшкова или Дельвига, – вообще, что-нибудь около Пушкина, – но при чем тут Чернышевский?

Федор:
Упражнение в стрельбе.

Инженер Керн:
Ответ по меньшей мере загадочный.

Пытается раздавить орех в ладонях, Горяинов передает ему щипцы.

Александр Яковлевич:
Что ж, мне это начинает нравиться. В наше страшное время, когда у нас попорана личность и удушена мысль, для писателя должно быть действительно большой радостью окунуться в светлую эпоху шестидесятых годов. Приветствую.

Александра Яковлевна:
Да, но от него это так далеко! Нет преемственности, нет традиции. Откровенно говоря, мне самой было бы не очень интересно восстанавливать все, что я чувствовала по этому поводу, когда была курсисткой.

Инженер Керн:
Мой дядя (*раздавив орех*) был выгнан из гимназии за чтение «Что делать?».

Александра Яковлевна (*обращаясь к Горяинову*):
А вы как на это смотрите?

Горяинов (*разведя руки, тонким голосом, как будто кому-то подражая*):
Не имею определенного мнения. Чернышевского не читал, а так, если подумать... Прескучная, прости Господи, фигура!

Александр Яковлевич (*откинувшись в кресле, дергаясь лицом, то улыбаясь, то потухая*): А вот я все-таки приветствую мысль Федора Константиновича. Конечно, многое нам теперь кажется смешным и скучным. Но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее, – все это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культ свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации: крестьян – от помещиков, гражданина – от государства, женщины – от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения: жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, – но еще именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный – вдумчивый, честный, смелый... Нет, нет, это прекрасно, – непременно напишите!

Инженер Керн поднялся с места и расхаживает по комнате, качая головой.

Инженер Керн (*взявшись за спинку стула*):
О чем речь? Кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине? Руссо был скверным ботаником, и я ни за что не стал бы лечиться у Чехова. Чернышевский был прежде всего

ученый экономист, и как такового его надобно рассматривать, – а при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю».

Александра Яковлевна:

Ваше сравнение абсолютно неправильно. Смешно! В медицине Чехов не оставил ни малейшего следа, музыкальные композиции Руссо – только курьезы, а между тем никакая история русской литературы не может обойти Чернышевского. Но я другого не понимаю, – какой Федору Константиновичу интерес писать о людях и временах, которых он по всему своему складу чужд? Я, конечно, не знаю, какой будет у него подход. Но если ему, скажем просто, хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, то ему не стоит стараться: Волынский и Айхенвальд давно это сделали.

Александр Яковлевич:

Ну, что ты, что ты, об этом речь не идет. Молодой писатель заинтересовался одной из важнейших эр русской истории и собирается написать художественную биографию одного из ее самых крупных деятелей. Я в этом ничего странного не вижу. С предметом ознакомиться не так трудно, книг он найдет более чем достаточно, а остальное все зависит от таланта. Ты говоришь – подход, подход. Но, при талантливом подходе к данному предмету, сарказм априори исключается, он ни при чем. Мне так кажется, по крайней мере.

Занавес

Ат (актер, играющий Федора):

Для Федора Константиновича возобновился тот образ жизни, к которому он пристрастился, когда он изучал деятельность отца. Это было одно из тех повторений, один из тех г о л о с о в, которыми, по всем правилам гармонии, судьба обогащает жизнь приметливого человека.

Акт девятый

Издание книги

Кабинет Васильева в редакции «Газеты». Напротив него по другую сторону стола сидит Федор Годунов-Чердынцев.

Федор:

Ну что – прочли?

Васильев (угрюмым басом):

Прочел.

Федор (бодро):

Я бы, собственно, хотел, чтобы это вышло еще весной.

Васильев:

Вот ваша рукопись (*наступив брови и протягивая Федору папку*). Берите. Никакой речи не может быть о том, чтобы я был причастен к ее напечатанию. Я полагал, что это серьезный труд, а оказывается, что это беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина. Я удивляюсь вам.

Федор:

Ну, это положим, глупости.

Васильев:

Нет, милостивый государь, вовсе не глупости (*взревел Георгий Иванович, гневно перебирая вещи на столе*). Нет, милостивый государь! Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не послушаете, но все-таки, – (*и Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце*), – я как друг прошу вас: не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, от вас все отвернутся.

Федор:

Предпочитаю затылки.

Берлинская улица 20-х годов 20-го века. Около русской книжной лавки с Федором здоровается дородный господин с крупными чертами лица, в черной фетровой шляпе (из-под нее – каштановый клочок). Федор Константинович сначала не узнал, потом вспомнил: Буш, два с половиной года тому назад читавший в кружке свою пьесу. Недавно он ее выпустил в свет. (Черное пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта)

Буш:

Теперь моя пьеса выйдет и по-немецки. Сверх того, я сейчас работаю над Романом. Мой Роман – это трагедия философа, который постиг абсолют-формулу. Целое равно наименьшей части целого, сумма частей равна части суммы. Это есть тайна мира, формула абсолют-бесконечности, но, сделав таковое открытие, человеческая личность больше не может гулять и разговаривать. Если вы интересуетесь, я вам когда-нибудь с начала почи-таю. Тема колоссальная. А вы, смею спросить, что делаете?

Федор:

Я? (*усмехнувшись*) – Я тоже написал книгу о критике Чернышевском, а найти для нее издателя не могу.

Буш:

А! Популяризатор германского материализма! Очень почтенно. Я все более убеждаюсь, что мой издатель охотно возьмет ваш труд. Он комический персонаж, и для него литература – закрытая книга. Но я у него в положении советника, и он выслушивает меня. Дайте мне ваш телефон-номер, я завтра с ним свижусь, – и если он в принципе соглашается, то пробегу ваш манускрипт и смею надеяться, что рекомендую его самым льстивым образом.

Ат (читает Федор):

«Какая чушь», – подумал Федор Константинович, а потому был весьма удивлен, когда, на другой же день, добряк действительно позвонил. Издатель оказался полненьким, с жирным носом мужчиной, чем-то напоминавшим Александра Яковлевича, с такими же красными ушами и черными волосиками по бокам отшлифованной лысины. Буш отозвался о «Жизни Чернышевского» как о пощечине марксизму (о нанесении коей Федор Константи-

нович при сочинении нимало не заботился), и при втором свидании, издатель, человек, по-видимому, милейший, обещал книгу напечатать к Пасхе, т.е. через месяц.

Опускается занавес, на полотно которого проецируются кадры из фильма «Ключи Набокова», где читается его стихотворение: «К России» «Отвяжись, я тебя умоляю...»

<http://www.verbolev.com/#!/film/ccam> (Хронометраж кадров: 2мин.55сек. – 1.15 – 4.10)

Анимационный фильм «Сонет из прошлого»

Внешний вид и характеристики действующих лиц в анимационном фильме:

Боков, доктор медицины – среднего роста, с темными каштановыми волосами, с правильными чертами лица, с гордым и смелым видом;

Ракеев Федор Спиридонович, полковник – приземистый, неприятный, в черном мундире, с волчьим углом лица;

Чернышевский Николай Гаврилович, литератор – среднего роста, в очках, лицо некрасиво, черты неправильны;

Антонович, член «Земли и Воли», не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен.

Вверху посередине, над сценой, под авторский текст (Ат), читаемый актрисой, исполняющей роль Александры Яковлевны Чернышевской, медленно опускается и останавливается портрет Чернышевского.

Тихо звучит революционная песня «Вы жертвою пали...»

Ат (читает Ал-ра Яковл. Чернышевская):

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,

с улыбкой женскою и детскою заботой
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

Сонет – словно преграждающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы всё, – если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение.

Музыка перестает звучать.

На экран в центре сцены проецируется следующий мультипликационный (анимационный) фильм.

Видеоряд

Среди бескрайних летних просторов России появляется бричка. В ней едут: 18-летний Николай Чернышевский, всю дорогу, читающий книжку, и его мать Евгения Егоровна, которая дремлет, прикрыв лицо платком.

Аудиоряд²

Ат (читает Федор):

Кстати: ландшафт, который незадолго до того чудно и томно развивался навстречу бесмертной бричке; все то русское, путевое, вольное до слез; все кроткое, что глядит с поля, с пригорка, промеж продолговатых туч; красота просительная, выжидательная, готовая броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать; – ландшафт, короче говоря, воспитанный Гоголем, прошел незамеченным мимо очей восемнадцатилетнего Николая Гавриловича, неторопливо, на долгих, ехавшего с матерью в Петербург. Всю дорогу он читал книжку. И то сказать, – склонявшимся в пыль колосьям он предпочел словесную войну. Катится удобная дорожная повозка; дремлет, прикрыв лицо платком, Николина мать Евгения Егоровна, а рядом, лежа, сын читает книжку, – и ухаб теряет значение ухаба, становясь лишь типографской неровностью, скачком строки, – и вот опять ровно проходят слова, проходят деревья, проходит тень их по страницам.

Видеоряд

Появляются виды старинного Петербурга (40-е года 19-го века). Гравюры Санкт-Петербурга первой половины 19-го века.

Аудиоряд

Ат (читает Ал-р Як. Черн-й):

И вот, наконец, Петербург. Нева ему понравилась своей синевой и прозрачностью – какая многоводная столица, как чиста в ней вода; но особенно понравилось стройное распределение воды, дельность каналов...

Ат (читает Федор):

Как славно, когда можно соединить это с тем, то с этим; из связи вывести благо.

Ат (читает Ал-р Яковл. Чернышевский):

Он избрал филологический факультет. Николай Гаврилович сначала поселился с приятелем, а впоследствии делил квартиру с кухней и ее мужем. Планы этих квартир, как и всех прочих его жизненных стоянок, им начертаны в письмах.

Ат (читает Федор):

Всегда испытывая влечение к точному определению отношений между предметами, он любил планы, столбики цифр, наглядное

изображение вещей, тем более что недостижимую для него литературную изобразительность никак не могла заменить мучительная обстоятельность его слога.

Видеоряд

Фото (гравюры) художественных лавок на Невском той поры с изображениями художественных картин первой половины 19 века.

² Аудиоряд соответствует вышеприведённому видеоряду. Данное соответствие действует на все нижеприведенные видеоряды.

Аудиоряд

Ат (читает Ал-р. Як. Ч —й):

На Невском проспекте в витринах художественных лавок были выставлены поэтические картинки. Хорошенько их изучив, он возвращался домой и записывал свои наблюдения.

Ат (читает Федор):

На белой террасе над морем – две девушки: грациозная блондинка сидит на каменной лавке, целуясь с юношей, а грациозная брюнетка смотрит, не идет ли кто, отодвинув занавеску, «отделяющую террасу от других частей дома», как отмечаем мы в дневнике, ибо всегда любим установить, в какой связи находится данная подробность по отношению к ее умозрительной среде. Важный вывод: жизнь милее (а значит, лучше) живописи, ибо что такое живопись, поэзия, вообще искусство в самом чистом своем виде? Это – солнце пурпурное, опускающееся в море лазурное; это – «красивые» складки платья; это – розовые тени, которые пустой писатель тратит на иллюминаровку своих глянцевиных глав; это – гирлянды цветов, феи, фрифы, фавны... Две-три колонны, два-три дерева – не то кипарисы, не то тополя, – какая-то мало нам симпатичная урна, – и поклонник чистого искусства рукоплещет. Презренный! Праздный! И действительно, как же не предпочесть всему этому вздору честное описание современного быта, гражданскую горечь, душевные стишки?

Смело можно сказать, что в те минуты, когда он льнул к витрине, полностью создалась его нехитрая магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности».

Видеоряд

Здание филфака Петербургского университета, фото Чернышевского, защита диссертации, много слушателей.

Аудиоряд

Ат (читает Ал-р Як. Ч-ий):

Итак: 10 мая 55-го года Чернышевский защищал в университете уже знакомую нам диссертацию, «Отношения искусства к действительности», написанную в три августовские ночи в 53-м году.

Ат (читает Федор):

Как часто бывает с идеями порочными, от плоти освободившимися или обросшими ею, можно в эстетических воззрениях «молодого ученого» расслышать его физический стиль, самый звук его тонкого наставительного голоса. «Прекрасное есть жизнь. Милое нам есть прекрасное; жизнь нам мила в добрых своих проявлениях... Говорите же о жизни, – так продолжает этот звук, столь охотно воспринятый акустикой века), – а если люди не живут по-человечески, – что ж, учите их жить, живописуйте им портреты жизни примерных людей и благоустроенных обществ». Искусство, таким образом, есть замена, или приговор, но отнюдь не ровня жизни, точно так же как «гравюра в художественном отношении гораздо хуже картины», с которой она снята (особенно прелестная мысль). «Единственное, впрочем, – ясно проговорил диссертант, – чем поэзия может стоять выше действительности, это украшение событий прибавкой эффектных аксессуаров и согласованием характера описываемых лиц с теми событиями, в которых они участвуют».

Таким образом, борясь с чистым искусством, шестидесятники, и за ними хорошие русские люди вплоть до девяностых годов, боролись, по неведению своему, с собственным ложным понятием о нем, ибо как аскету снится пир, от которого бы чревоугодника стошнило, – так и Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства,

видел его венец в искусстве условном, прилизанном (т.е. в антиискусстве), с которым и воевал – поражая пустоту.

Немецкий педагог Кампе, сложив ручки на животе, говаривал: «Выпрямь пфунт шерсти полезнее, нежели написать том стихоф». Вот и мы с такой же солидной серьезностью досадуем на поэта, на здорового человека, который лучше бы ничего не делал, а занимается вырезыванием пустячков «из очень милой цветной бумаги. Пойми, штукарь, пойми, арабесник, что «сила искусства есть сила общих мест» и больше ничего. Для критики «всего интереснее, какое воззрение выразилось в произведении писателя». Чернышевский полагал, что ценность произведения есть понятие не качества, а количества и что «если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе с вниманием ловить все проблески наблюдательности, он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составляются страницы произведений, восхищающих нас». Мало того: «Довольно взглянуть на мелочные изделия парижской промышленности, на изящную бронзу, фарфор, деревянные изделия, чтобы понять, как невозможно провести теперь границу между художественным и нехудожественным произведением» (вот эта изящная бронза многое и объясняет).

Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающего просвещение, искусства, ремёсла, накопившего множество ценностей в области мышления, – быть может, выказавшего вполне передовую разборчивость во время их накопления, но теперь вовсе не желающего, чтобы они вдруг подверглись пересмотру, такого человека иррациональная новизна сердит пуще темноты ветхого невежества.

Видеоряд

Портрет Чернышевского перемещается на задний план, а на переднем – портреты Ленина, Крупской, Луначарского.

Аудиоряд

Ат (читает Ал-р Яковл. Ч-ий):

Ленин считал, что Чернышевский «единственный действительно великий писатель, который сумел с пятидесятих годов вплоть до 1888 остаться на уровне цельного философского материализма». Как-то Крупская, обернувшись на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил... Я думаю, что между ним и Чернышевским было очень много общего». «Да, несомненно было общее – добавляет Луначарский и в ясности слога, и в подвижности речи... в широте и глубине суждений, в революционном пламени... В этом соединении огромного содержания и внешней скромности, и, наконец, в моральном облике обоих этих людей».

Видеоряд

Портреты политических деятелей уходят за кадр, на переднем плане – портреты русских писателей Толстого и Тургенева.

Аудиоряд

Ат (читает Федор):

Такие средства познания, как диалектический материализм, необыкновенно напоминают недобросовестные рекламы патентованных снадобий, врачующих сразу все болезни. Случается все же, что такое средство помогает при насморке. Есть, есть классовый душок в отношении к Чернышевскому русских писателей, современных ему. Тургенев, Григорович, Толстой называли его «клоповоняющим господином», всячески между собой над ним

измываясь. «Я прочел его отвратительную книгу (диссертацию), – пишет Тургенев в письме к товарищам по насмешке. – Рака! Рака! Рака! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете». Толстой не выносил нашего героя: «Его так и слышишь, – писал он о нем – тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности... и возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза».

Видеоряд

Рядом с портретами Толстого и Тургенева появляется портрет Пушкина.

Аудиоряд

Ат (читает А-р Як. Ч-й):

Юношей он записал в дневнике: «Политическая литература – высшая литература». Рассуждая о Белинском, он ему следовал, говоря, что «литература не может не быть служительницей того или иного направления идей» и что писатели «неспособные искренне одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг нас... великого ничего не произведут ни в каком случае», ибо «история не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного».

Ат (читает Федор):

Так уже повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны: можете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом талант и честь. Браните же его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность «Бориса Годунова», за метрическую погрешность в начале «Пира во время чумы», за пятикратное повторение слова «поминутно» в нескольких строках «Метели», но, ради Бога, бросьте посторонние разговоры.

Для Чернышевского гений был здравый смысл. Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не «отделка», а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо з н а е т, что хочет сказать. При этом, как человек, творчеству до смешного чуждый, он полагал, что «отделка» происходит «на бумаге», а «настоящая работа», т.е. составление общего плана – «в уме», – признак того опасного дуализма, той трещины в его «материализме», откуда выползла не одна змея, в жизни ужалившая его. Своеобразие Пушкина вообще внушала ему серьезные опасения. «Поэтические произведения хороши тогда, когда прочитав их, к а ж д ы й говорит: да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает».

«Перечитывая самые бранчивые критики, – писал как-то Пушкин осенью, в Болдине, – я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать; кажется, если бы я хотел над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать без всякого замечания».

Видеоряд

Журнал «Современник» 50-х годов 19 века, когда в нем работал Чернышевский.

Аудиоряд

Ат (читает А-р Як. Ч-й):

В России цензурное ведомство возникло раньше литературы; всегда чувствовалось его роковое старшинство: так и подмывало по нему щелкнуть. Деятельность Чернышевского

в «Современнике» превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющей собой и впрямь одно из замечательнейших отечественных учреждений наших. И вот, в то время когда власти опасались, например, что «под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения», а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале, под прикрытием кропотливого шутовства, делал бешеную рекламу Фейербаху. Когда в статьях о Гарибальди или Кавуре (страшно представить себе, сколько саженой мелкой печати этот неутомимый человек перевел из «Таймса»), в комментариях к итальянским событиям он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы: Италия, в Италии, я говорю об Италии, – развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе.

Видеоряд

Санкт-Петербург, лето 1862-го.

Закрит журнал «Современник».

Аудиоряд

Ат (читает А-р Як. Ч-ий):

Чернышевский жил тогда близ Владимирской церкви,

в доме, четвертом по Большой Московской. 7 июля у него сидели два приятеля: доктор Боков (впоследствии изгнаннику посылавший врачебные советы) и Антонович (член «Земли и Воли», не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен).

7 июля 1862г. в зале (квартира Чернышевского) сидят и беседуют с Николаем Гавриловичем Боков, Антонович и полковник Ракеев, приехавший Чернышевского арестовать.

Ракеев:

Уважаемый Николай Гаврилович, я бы хотел поговорить с вами наедине.

Чернышевский:

А, тогда пойдем в кабинет.

Чернышевский первым бросается в кабинет и тотчас же прытко возвращается оттуда, судорожно двигая языком, и запивая что-то холодным чаем. Глядя поверх очков, он пропускает гостя вперед. В зале, где уже нет Бокова и Антоновича, садятся за письменный стол, причем полковник сидит сбоку, заложив ногу на ногу.

Ракеев:

А знаете-с? Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его.

Чернышевский:

Что вы говорите. Очень печально. У меня, вот, полтора года назад умер от скарлатины мой сын Виктор. Ему было всего три года. Мы все, а жена особенно, переживали.

Ракеев (оглядываясь):

А где сейчас ваша жена?

Чернышевский:

Право, не знаю. Была в Павловске, но собиралась на днях в Саратов.

Ракеев (покашливая):

Да, в Павловске, конечно, – чудесно. Общество, главное, отличнейшее.

В залу возвращаются Боков и Антонович.

Боков (в дверях, Антоновичу):

Не может быть... я не думаю...

Антонович застывает на месте, сосредоточенно о чем-то размышляя. Боков подходит к Чернышевскому и прощается.

Чернышевский (Антоновичу):

А вы разве тоже уходите и не подождете меня?

Антонович (смутясь):

Мне, к сожалению, пора...

Чернышевский (шутливым тоном):

Ну что ж, тогда до свидания.

И, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича.

Видеоряд

Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В одиночной камере за зеленым столиком сидит в байковом халате, в картузе Чернышевский и гусиным пером что-то быстро пишет. На столике лежит большая стопка исписанной бумаги.

Аудиоряд:

Ат (читает Ал-р Як. Черн-й):

Перед нами знаменитое письмо Чернышевского к жене от 5 декабря 62-го года... Весь пыл, вся мощь воли и мысли, отпущенные ему, все то, что должно было грянуть в час народного восстания, грянуть и хоть на краткое время зажать в себе верховную власть рвануть узду и, может быть, обогреть кровью губу России – все это теперь нашло болезненный исход в его переписке. Можно прямо сказать, что это и было венцом и целью всей его глухо, издавна нараставшей жизненной диалектики – эти железным бешенством прохваченные послания к комиссии, разбиравшей его дело, которое он вкладывал в письма к жене, эта торжествующая ярость аргументов... «Люди будут вспоминать нас с благодарностью», – писал он Ольге Сократовне, – и оказался прав: именно этот звук и отозвался, разлившись по всему оставшемуся простору века, заставляя искренним и благородным умилением биться сердца миллионов интеллигентных провинциалов. А еще спустя несколько дней он начал писать «Что делать?» – и уже 15 января послал первую порцию Пыпину; через неделю послал вторую, и Пыпин передал обе Некрасову для «Современника», который с февраля был опять разрешен.

Ат (читает Федор):

3 февраля Некрасов, проездом на извозчике от гостиницы Демута к себе домой, на угол Литейной и Бассейной, потерял сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием «Что делать?». Подъезжая к дому, положил сверток рядом с собой, чтобы достать кошелек, – а тут как раз сани сворачивали... скрежетание относа... и «Что делать?» незаметно скатилось: вот это и была попытка тайной силы – в данном случае

центробежной – конфисковать книгу, счастливая судьба которой должна была так губительно отразиться на судьбе ее автора. Но попытка не удалась: на снегу, у Мариинской больницы, розовый сверток поднял бедный чиновник, обремененный большой семьей. Придя воспрянуть, он надел очки, осмотрел находку... увидел, что это начало какого-то сочинения, и, не вздрогнув, не опалив вялых пальцев, отложил. «Уничтожь!» – напрасно молил безнадёжный голос. В «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» напечатано было объявление о пропаже. Чиновник отнес сверток по означенному адресу, за что и получил обещанное: пятьдесят рублей серебром.

Увы! писать «Что делать?» в крепости было не столь поразительно,

сколь безрассудно – хотя бы потому, что оно было присоединено к делу. Вообще история появления этого романа исключительно любопытна. Цензура разрешила печатание его в «Современнике», рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой «нечто в высшей степени антихудожественное», наверное, уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют за нее. И действительно, чего стоят, например, «легкие» сцены в романе: «Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли, – (бывшую парижскую проститутку, а ныне подругу жизни одного из героев!). – Подняли они с Жюли шум, крик, гам... Принялись бороться, упали обе на диван... и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули». Много и прелестных безграмотностей, – вот образец: когда медик, заболевший воспалением легких, призвал коллегу, то: «Долго они щупали бока одному из себя».

Ат (читает Ал-р Яковл. Черн-й):

Но никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись. Даже Герцен, находя, что «гнусно написано», тотчас оговаривался: «с другой стороны, много хорошего, здорового». Вместо ожидаемых насмешек вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, – и ни одна вещь Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления.

Ат (читает Федор):

Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист.

Видеоряд

19 мая 1864 года, 8 часов утра, Санкт-Петербург, Мытнинская площадь, дождь, жандармские мундиры, помост, черный столб с цепями, публика... Гражданская казнь Чернышевского.

Аудиоряд

Ат (читает А-р Як. Ч-ий):

Покамест чиновник читал приговор, Чернышевский нахохленно озирался, перебирал бородку, поправлял очки. Близко стоявшие видели на его груди продолговатую дощечку с надписью белой краской: «государственный преступник». По окончании чтения палачи опустили его на колени; старший наотмашь скинул фуражку с его длинных, назад зачесанных, светло-русых волос. Суженное книзу лицо с большим лоснящимся лбом было теперь опущено, и с треском над ним преломили подпиленную шпагу. Затем взяли его руки в черные цепи, прикрепленные к столбу: так он должен был простоять четверть часа. Шел дождь; старший палач посматривал на серебряные часы. Вдруг из толпы чистой публики полетели букеты. Жандармы, прыгая, пытались перехватить их на лету. Взрывались в воздухе розы; мгновениями можно было наблюдать редкую комбинацию: городской в венке. Стриженные

дамы в черных бурнусах метали сирень. Между тем Чернышевского поспешно высвободили из цепей и повезли прочь. Студенты бежали подле кареты, с криками: «Прощай, Чернышевский! До свиданья!»

Ат (читает Федор):

Как не предпочесть казнь смертную, содрогания висельника в своем ужасном коконе, тем похоронам, которые спустя двадцать пять бессмысленных лет выпали на долю Чернышевского. Лапа забвения стала медленно забирать его живой образ, как только он был увезен в Сибирь.

Видеоряд

Сибирь, Нерчинский горный округ, Кадая (15 верст от Китая, 7000 – от Петербурга); Александровский завод, тюрьма; Вилуйск...

Аудиоряд

Ат (читает А-р Як. Ч-ий):

Работать ему приходилось мало, жил он в «конторе»: просторной комнате, разделенной перегородкой; в большей части шли по всей стене низкие нары, вроде помоста; мучился от ревматизма. Невыносимо страдая от сквозняков, он никогда не снимал ни халатика на меху, ни барашковой шапки. 2 декабря 1870-го года его перевезли в другое место, в место, оказавшееся гораздо хуже каторги, – в Видюйск. Там Чернышевского поместили в лучшем доме, а лучшим домом в Вилуйске оказался острог. Дверь его сырой камеры была обита черной клеенкой; два окна, и так упиравшихся в частокол, были забраны решетками. За отсутствием каких-либо других ссыльных, он очутился в совершенном одиночестве. Отчаяние, бессилье, сознание обмана, чувство несправедливости, подобное пропасти, уродливые недостатки полярного быта – все это едва не свело его с ума.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.